JAMES MASON DANIELLE DARRIEUX MICHAEL RENNIE

# DER FALL CICERO

JOSEPH L. MANKIEWICZ

MC ONE EDITION

Classic

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Автор книги «Операция „Цицерон“» Л. Мойзиш, несмотря на подозрительную фамилию, был арийцем. В годы второй мировой войны он занимал должность атташе немецкого посольства в Турции, являясь в то же время сотрудником одной из разведывательных служб Третьего Рейха.

Мойзиш утверждает, что описываемые им события действительно произошли в 1943–1944 гг., когда немецкая разведка получила доступ к совершенно секретным документам английского посольства в Анкаре.

Нельзя не отметить, что Мойзиш последовательно старается обелить свою разведывательную деятельность и представить в благоприятном свете военного преступника Франца фон Папена – посла нацистской Германии в Турции. Фон Папен выглядит в книге Мойзиша гуманным, благородным человеком, обиженным руководителями Германии, и даже чуть ли не противником гитлеровского режима. Впрочем, в наши дни есть достаточно источников информации, позволяющих судить о подобных людях объективно.

Операция «Цицерон» – пожалуй, самое выдающееся событие в той загадочной, тайной и безмолвной борьбе, которая ни на минуту не прекращалась в течение шести долгих лет войны. Развернулась эта операция Турции в период с октября 1943 по апрель 1944 года.

- Людвиг Карл Мойзиш
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8

# Людвиг Карл Мойзиш
# Операция «Цицерон»

# Глава первая

Операция «Цицерон» – пожалуй, самое выдающееся событие в той загадочной, тайной и безмолвной борьбе, которая ни на минуту не прекращалась в течение шести долгих лет минувшей войны. Развернулась эта операция Турции в период с октября 1943 по апрель 1944 года.

Цицерон – кличка шпиона, настоящего имени которого я так никогда и не узнал, хотя из-за него в течение шести самых напряженных месяцев моей жизни я не раз стоял на грани потери рассудка и чуть было не поплатился своей головой.

Едва все это кончилось, как разразилась колоссальная катастрофа Третьего Рейха, за которой последовали многие годы глубокой душевной подавленности. Тогда мне казалось, что операция «Цицерон», затерявшись в массе бурных событий, навсегда погребена в анналах истории. Но вот недавно в прессе стали появляться сенсационные сообщения о ней, сильно искажающие действительные факты. И так как, кроме самого Цицерона, если он жив (что почти невероятно), я оказался единственным свидетелем, которому известны все подробности этого дела, то я и попытаюсь в меру своих возможностей беспристрастно рассказать о них. Я говорю «беспристрастно», потому что даже спустя пять лет волнения и переживания того времени всё ещё свежи в моей памяти.

Когда началась операция «Цицерон», война подходила к своему кульминационному пункту. Союзники высадились в Италии. Русские, над которыми год тому назад, когда немцы подходили к Сталинграду и ворвались в Крым, нависла угроза поражения, теперь успешно наступали. Воздушные, налеты на территорию Германии стали ежедневными и более мощными. Колоссальная военная машина Гитлера начала разваливаться. Превосходящие силы союзников готовились к нанесению решительных ударов. Дни Третьего Рейха были сочтены. Руководители Германии не хотели осознать всю безнадежность создавшегося положения, хотя операция «Цицерон» дала им в руки исчерпывающие сведения о силах и намерениях противника, сведения, подобные которым едва ли удавалось добыть через каналы разведывательной службы кому-либо из военных руководителей в прошлом.

Анкара имела то преимущество перед другими городами мира, что из неё лучше всего была видна общая картина войны. Занимая в Анкаре должность атташе немецкого посольства, я, естественно, находился в центре дипломатических интриг

военного времени; по делам службы я часто бывал в Стамбуле – знойном, шумном, оживленном городе, который в то время был самым крупным нейтральным городом на земном шаре.

Посольство в Анкаре служило для Германии окном во внешний мир, а потому должность посла в Турции была наиболее ответственной из всех, какие только могла предложить дипломатическая служба Третьего Рейха.

Об этом убедительно говорит назначение на должность посла бывшего канцлера Германии Франца фон Папена – самого искусного политического деятеля первой половины XX века. Этот пост отнюдь не был синекурой, и для успеха дела требовалась политическая фигура масштаба фон Папена.

Работу фон Папена сильно затрудняло урегулирование бесконечных неприятностей, возникавших из-за вмешательства наших высших начальников, или, точнее, из-за слишком большого количества высших начальников, каждый из которых старался взять под свой контроль внешнюю политику Германии.

Официально мы подчинялись, конечно, министерству иностранных дел, возглавляемому фон Риббентропом. Но помимо него, было очень много других официальных и полуофициальных организаций, политических группировок и отдельных лиц, деятельность которых вносила досадные помехи в работу посольства. Их влияние на внешнюю политику зависело от близости к фюреру в каждый из исторических моментов. В результате возник небывало сложный комплекс интриг между отдельными видными деятелями, причем арена политических событий часто перемещалась с Вильгельмштрассе в Берхтесгаден[1] или в ставку фюрера, находившуюся на Восточном фронте.

Среди этих соперничавших органов, вмешивавшихся в нашу работу и доставлявших нам массу хлопот, был так называемый отдел внешних сношений нацистской партии, руководимый пресловутым господином Боле, который, будучи одним из видных партийных деятелей, имел необычайно сильное влияние на Гитлера. Следует, между прочим, заметить, что Боле – уроженец Брэдфорда (Англия).

За этим отделом следовал целый ряд организаций, аналогичных «Британской Секретной Службе», но отличавшихся от неё отсутствием строгой централизации. Из них прежде всего нужно назвать министерство иностранных дел, имевшее свою официальную разведывательную службу. Нельзя не упомянуть и о крупной разведывательной организации, которую в то время возглавлял весьма влиятельный эсэсовский генерал Кальтенбруннер, приговоренный впоследствии в Нюрнберге к

смертной казни. За ней следовала армейская контрразведка, руководимая адмиралом Канарисом, который позднее оказался в оппозиции к нацистскому режиму, участвовал в покушении на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года и был казнен. К числу этих организаций относилась также личная разведка Гиммлера. Во главе её во время моего четырехлетнего пребывания в Анкаре стоял сначала Йост, а затем Шелленберг.

В конце концов она слилась с организацией Кальтенбруннера. Геббельс тоже имел штат разведчиков и проявлял невероятную ревность, когда какая-нибудь другая организация брала на себя функции, которые он считал своими.

Наконец, – но это далеко не исчерпывает всего перечня – назову ещё министерство по делам оккупированных восточных районов во главе с Розенбергом, занимавшимся, как выяснилось позднее, главным образом распределением трофеев среди своих личных друзей. Не обладая в достаточной мере чувством реальности, он роздал своим друзьям большое количество административных должностей даже в районах, на территорию которых не ступала нога германского солдата. Бесспорно, его организация была самой нелепой и никчемной из всех других. Однако и она состояла из бесчисленного множества управлений с большим количеством начальников, заместителей и секретарей, каждый из которых пытался создать видимость интенсивной деятельности, дабы оправдать свое существование. Наибольшую активность они проявляли, стремясь получить максимальное количество командировок, разумеется, в специальных самолетах и на положении щедро оплачиваемых, особо важных персон.

И сколь смешным ни казалось министерство Розенберга, оно однажды причинило фон Папену самую большую неприятность из всех, какие приходилось ему переносить из-за вмешательства этих неофициальных вершителей внешней политики Германии. Данный инцидент явился причиной самого серьезного дипломатического осложнения первого периода войны как для нашего посольства в Турции, так и для всей Германской империи.

Летом 1941 года, когда немецкая армия на Восточном фронте ещё вела успешные боевые действия, в Турции появился человек, называвший себя «гауляйтером Тифлиса». Берлин не поставил нас в известность о его приезде, а он, не проявив достаточного такта, не представился в посольстве. Около недели, этот субъект разъезжал из Стамбула в Анкару и обратно, давая то тут, то там пышные обеды. Его гостями в большинстве случаев были довольно известные русские белогвардейцы – эмигранты с Кавказа, которых щедрый хозяин великодушно одарял будущими должностями даже в тех редких случаях, когда он был абсолютно

трезв. Подкрепленные вином и посулами, они восхваляли своего будущего «гауляйтера». Узнав о «деятельности» этого «гауляйтера», фон Папен пришел в ярость. Турецкое правительство тоже было осведомлено обо всем этом. Нуман Менеменджоглу (министр иностранных дел) немедленно вызвал к себе германского посла. Состоялась одна из самых унизительных для фон Папена встреч с Нуманом Менеменджоглу, с которым после ряда лет терпеливой и исполненной такта работы ему удалось установить атмосферу личного доверия и даже дружбы, несмотря на бесчисленные трудности и помехи, создаваемые, как правило, Берлином.

Нуман Менеменджоглу принял фон Папена необычайно холодно. Его правительство поручило ему сообщить, заявил он официальным тоном, что оно весьма обеспокоено деятельностью на турецкой территории так называемого «гауляйтера Тифлиса», которая не отвечает интересам Турции и угрожает её государственной безопасности.

После этого неприятного приема, не желая унижать себя до личной встречи с «гаулейтером», фон Папен поручил мне вызвать его и поговорить с ним соответствующим образом.

«Гауляйтер» явился по моему вызову и на мой вопрос, что он думает о своей деятельности, развязно ответил:

– Скоро эти турки узнают, что их ожидает!

– Прежде всего, – ответил я очень спокойно, – вы должны понять, что ожидает вас.

И когда он взглянул на меня с некоторым удивлением, я продолжал:

– Посол поручил мне сообщить вам, что вы должны немедленно покинуть Турцию.

Он пытался возражать, нагло заявив, что выполняет приказы только своего министра. Но это не помогло ему. Гнев посла не угас, и он позаботился, чтобы этот человек в тот же день был отправлен в Берлин.

Однако на этом дело не кончилось. Началась досадная и бесполезная переписка, отнявшая у нас массу времени. Кроме того, инцидент с «гаулейтером» заметно ухудшил отношения с турецким министерством иностранных дел, что могло привести к серьезным осложнениям. Нормализация этих отношений потребовала от нас много времени, такта и терпения.

Я сам чисто случайно оказался свидетелем и другого вызванного Берлином дипломатического инцидента, который мог привести к ещё более тяжелым последствиям, чем случай с так называемым «гаулейтером Тифлиса».

Однажды в Стамбуле я рылся на полках магазина немецкой

книги, куда частенько заходил, когда выкраивал немного свободного времени. Просматривая стопу книг, только что полученных из Германии, я был изумлен, увидев небольшую книжечку под названием «Путеводитель по Турции для немецкого солдата». Это был разговорник, с помощью которого немецкий солдат мог бы изъясняться, находясь на действительной военной службе в Турции. Разговорник принадлежал к серии официальных брошюр, изданных немецким армейским верховным командованием. Подобные книги со стереотипными фразами были изданы для немецких войск перед вторжением в Норвегию, Голландию, Францию, Югославию и другие страны.

Мое изумление сменилось ужасом, когда я осознал, как может быть расценена продажа такого рода книг и к какому дипломатическому скандалу она может привести. Положение осложнялось ещё и тем, что из ста экземпляров, полученных из Берлина день или два тому назад, семь уже было продано. Я, разумеется, купил оставшиеся 93 экземпляра и с ночным поездом возвратился в Анкару, где немедленно доложил послу о случившемся. Господина фон Папена охватил гнев – он прекрасно понимал, какую роль могут сыграть эти семь экземпляров, уже попавшие в Турцию.

Предполагаемой реакции долго ждать не пришлось. По крайней мере один экземпляр, безусловно, попал к министру иностранных дел Турции. Вскоре произошла чрезвычайно неприятная встреча между турецким министром и нашим послом. Положения господина фон Папена не облегчило даже то обстоятельство, что неделю или две тому назад он вручил главе турецкого государства написанное самим Гитлером письмо, в котором фюрер клялся в вечной дружбе и, казалось, искренне сочувствовал желанию Турции остаться в стороне от ужасов войны.

Позднее, находясь в Берлине, я задался целью отыскать людей, проявивших столь поразительную политическую слепоту и давших санкцию на издание подобной книги, не говоря уж о посылке её в Турцию. Основным виновником выпуска этого «Путеводителя» оказалось министерство пропаганды, хотя я обнаружил, что и цензура верховного командования дала свое разрешение. Этот пример типичен для деятельности Геббельса. Он не одобрял политики дружбы с Турцией, которую отстаивало немецкое посольство и пока что проводил сам фюрер. В Анкару, где находилось наше посольство, эти книги не посылали, очевидно, с таким расчетом, чтобы несколько экземпляров попало в руки турецкого правительства, прежде чем в посольстве узнают о её существовании. Следствием этого и будет ухудшение

турецко-германских отношений.

Вот в какой обстановке приходилось работать фон Папену. К счастью, он пользовался уважением и доверием турецкого правительства и тех турецких политических деятелей, с которыми ему приходилось иметь дело. Фон Папен был добросовестным и высококультурным человеком, а эти качества турки особенно уважают и ценят. Кроме того, они сознавали, что фон Папен использовал все свое влияние для предотвращения вторжения немецких войск в Турцию. Одно время такая угроза была вполне реальной.

Однако у министерства иностранных дел Германии вообще и у Риббентропа в особенности фон Папен не пользовался ни уважением, ни доверием. В дипломатических кругах знали, что взаимоотношения между фон Папеном и министром иностранных дел были очень напряженными. Время от времени фон Папен навлекал на себя гнев своего шефа и даже «главного шефа» – фюрера; особенно им не нравилось его предложение кончить войну путем переговоров.

Как-то раз в министерстве иностранных дел в Берлине мне довелось быть свидетелем одной острой стычки фон Папена с Риббентропом. Фон Папен закончил этот разговор словами:

– Я хочу сказать только об одном, господин министр иностранных дел. Очень просто начать войну, кончить же её значительно сложнее. Если вы будете настаивать на своем, то никогда не достигнете успеха. До свидания!

Я ждал в приемной и поэтому увидел фон Папена сразу же после того, как он вышел от Риббентропа: Папен был бледен, по его лицу пробегала нервная дрожь. В Анкаре он, конечно, никогда не упоминал о конфликтах с шефом и продолжал безукоризненно выполнять свой служебный долг.

Натянутые отношения между фон Папеном и министром иностранных дел не ограничивались словесными перепалками. За фон Папеном была установлена слежка, организованная различными разведывательными службами, часть которых упомянута выше. Для иллюстрации положения германского посла в Турции можно привести один особенно нелепый факт.

Во время моего пребывания в Берлине в сентябре 1943 года, незадолго до начала операции «Цицерон», мне посчастливилось через своего близкого друга получить доступ к секретным отчетам о Турции. По их содержанию можно было заключить, что большинство отчетов составлено вне Турции с плохим знанием реальной обстановки. Однако их авторы не были лишены некоторого воображения. Я нашел там очень забавные, даже пикантные сведения обо мне и моей деятельности. Словом,

отчеты были переполнены всевозможным, совершенно безответственным вздором. Сочинялись они, видимо, экспертами, множество которых разъезжало по оккупированным территориям и нейтральным странам с тем или иным секретным заданием. Казалось, единственной заботой этих людей было стремление как-то оправдать огромные затраты на их содержание. В этих целях они создавали видимость кипучей деятельности и безудержно занимались интригами друг против друга. Это было бы просто забавно, если бы не влекло за собой колоссальных расходов, не говоря уж о всевозможных склоках и недоразумениях.

Чувствуя себя в полной безопасности за толстыми стенами и запертой дверью кабинета моего друга, я развлекался, просматривая целую серию этих совершенно секретных отчетов. В одном из них сообщалось о встрече германского посла фон Папена с американским и русским послами, с точным указанием часа и места и утверждалось, что сведения поступили из «надежных и достоверных источников». В отчете говорилось, что эта в высшей степени секретная встреча состоялась во время совместной охоты трёх послов в окрестностях Анкары. Согласно «достоверным источникам» фон Папена сопровождал один из его атташе, которым, к моему изумлению, оказался я. Далее в отчете излагались подробности, ставшие известными, как указывалось в документе, из-за неосторожности одного лица, посвященного в обстоятельства встречи.

Прочитав этот классический образчик самого безответственного вымысла, я сначала опешил, а затем рассмеялся, припомнив подлинные обстоятельства события. Комизм положения заключался в том, что во всей этой истории была доля истины, показавшаяся автору вполне достаточной для сочинения вздорной небылицы о тайных переговорах с врагами. Правда, мы были на охоте и действительно встретились с послами, но совершенно случайно, отнюдь не для переговоров.

Однажды мой шеф любезно пригласил нас с женой принять участие в охоте на уток. Охота на уток, особенно в окрестностях Анкары, не столь простое занятие, каким оно может показаться на первый взгляд. Дело в том, что озеро, изобилующее дичью, находится на абсолютно ровной и открытой местности, без единого кустика, который мог бы служить укрытием охотнику, и потому утки улетают задолго до того, как удается приблизиться к ним на расстояние выстрела. Необходимо было найти какой-то способ обмануть пугливых птиц. И господин фон Папен кое-что придумал. В зоологическом саду Анкары он взял на время нескольких подсадных уток. Мы их забрали с собой в машину,

привязав каждую на длинную тесьму. Приблизившись к озеру, с которого, как обычно, сразу же взлетели дикие утки, мы пустили на воду привезенных с собой птиц. Свободно плавая по озеру, насколько им позволяла тесьма, утки должны были служить приманкой. Затем мы вырыли на берегу небольшую яму, куда спрятался посол, держа ружье наготове. Я тщательно замаскировал его ветками, которые мы привезли с собой, а затем метрах в трехстах от него выбрал подходящую канаву для себя и стал оттуда наблюдать.

Первые несколько минут было тихо. Вдруг один за другим раздались два выстрела, и эхо прокатилось по анатолийской равнине. Но стрелял не фон Папен. Я увидел, как он, увешанный ветвями, отчаянно жестикулируя, вылез из ямы, повернулся спиной к озеру и к уткам и сердито закричал на двух охотников, стоявших недалеко от него на невысоком холмике. Охотники, увидев, что допустили оплошность, поспешили удалиться. Направляясь к фон Папену, я все же успел разглядеть их. Моя жена, остававшаяся в машине, на значительном расстоянии от нас, разглядела их более детально.

– Едва я разместился в укрытии, – с досадой сказал мне посол, когда я подошел к нему, – как услышал позади себя два выстрела, и на меня посыпался град мелкой дроби. Привстав, я увидел двух охотников, силуэты которых вырисовывались на фоне неба. Я выругал их на всех известных мне языках. Проклятые браконьеры! Стрелять по сидячим уткам! Я не знаю ничего более бесчестного! И они чуть не попали в меня! Посмотрите сами, что получилось.

Я осмотрел место происшествия. Четыре утки, взятые из зоологического сада Анкары, были убиты. У самого фон Папена за ухом текла кровь.

– Вы не разглядели этих браконьеров? – спросил он меня. – Ведь они пробежали мимо вас. Мы должны сообщить их приметы в полицию.

– Я узнал их. Это были ваши коллеги – мистер Штейнгардт и господин Виноградов.

Посол смутился – ведь он назвал браконьерами американского и русского послов, причем это был ещё самый мягкий из примененных им эпитетов.

В течение нескольких дней фон Папен не мог успокоиться и сердился на себя за неумышленную грубость по отношению к своим коллегам. Тот факт, что Германия находилась в состоянии войны с Россией и Соединенными Штатами, только усугублял его неприятное чувство. В конце концов «последний рыцарь германской империи», как назвал фон Папена Нуман

Менеменджоглу, разрешил эту проблему с истинно дипломатическим тактом: он лично посетил шведское и швейцарское представительства, рассказал о происшествии посланникам и попросил их выразить при удобном случае сожаление американскому и русскому послам за те выражения, которые вырвались у него на охоте.

Но факт остается фактом – в середине второй мировой войны германский посол в Турции вместе с четырьмя подсадными утками из зоологического сада Анкары едва не был убит послами враждебных стран.

Вот эта история и послужила основой для сообщения о «предательских переговорах» во время охоты. Как ни комично все это выглядит, но подобные отчеты составлялись и, возможно, некоторыми кругами в Берлине принимались за чистую монету.

Небезынтересно отметить попутно, что должность первого секретаря германского посольства в Анкаре занимал Йенке, который также был непосредственно связан с операцией «Цицерон». Между прочим, его обворожительная, но честолюбивая жена приходилась Риббентропу сестрой. Их присутствие в Анкаре едва ли можно считать случайным.

Английским послом в Турции был сэр Нэтчбулл-Хьюгессен – личность весьма примечательная. Я видел его на многих официальных приемах, но мне ни разу не пришлось беседовать с ним лично. Вне всякого сомнения, он пользовался большим уважением турок и действительно был одним из наиболее способных и добросовестных послов своего времени. Случай предоставил мне возможность изучить большое количество документов английского посольства. На большей части из них с грифом «Совершенно секретно» были собственноручные пометки и комментарии сэра Хью Нэтчбулла-Хьюгессена, старательно написанные ровным и аккуратным почерком, по которому можно было судить о педантичности его характера. Я вспоминаю, как фон Папен, Йенке и я, просматривая эти секретные документы, восхищались высокими профессиональными качествами личных докладов сэра Хью. Они были написаны исключительно выразительным стилем и не содержали ничего лишнего.

Ранней осенью 1943 года произошел небольшой инцидент, который в ретроспективном плане можно считать исходным пунктом последующих событий. По крайней мере, на мой взгляд, он послужил началом операции «Цицерон».

По долгу службы я однажды присутствовал на чрезвычайно скучном обеде в японском посольстве. Когда обычные темы разговоров были исчерпаны, одна из дам стала гадать по руке. Она гадала и мне, и так как эта дама была женой поверенного в

делах, а я всего-навсего атташе, мне не следовало показывать, что я принимаю её упражнения в хиромантии за шутку. Я должен был учтиво улыбаться. Всмотревшись в мою руку, она объявила, что меня ожидают большие волнения и неприятности. Про себя я подумал, что в той напряженной международной обстановке и при нашем трудном положении в частности не нужно было быть искусным ясновидцем, чтобы делать такого рода предсказания. Она предсказывала мне также долгие годы жизни, но даже это при тех обстоятельствах не казалось мне радужной перспективой. Уйдя с обеда, как только позволили правила приличия, я направился в сад посольства, где оставил свою машину. Садясь в нее, я, по всей вероятности, слишком сильно хлопнул дверцей, так как одно из стекол разбилось и осколки со звоном посыпались в машину. Предсказания «гадалки» начали как будто сбываться.

Я не суеверен, но ехал домой медленно и осторожно, чтобы не искушать судьбу. Когда перед сном я, как обычно, зашел в детскую проведать своего маленького сына, у него оказался жар. К счастью, ничего серьезного с ним не было, и неприятный осадок от совпадения этих двух событий к утру почти исчез.

Однако следующий день также не обошелся без волнений. И хотя не повезло всего-навсего моему секретарю, последствия этого случая оказались весьма зловещими и близко коснулись меня. Я не называю её настоящего имени, так как эта девушка, удачно выйдя замуж, в настоящее время счастливо живет где-то в Германии. Впрочем, и в посольстве все называли её не настоящим именем, а Шнюрхен из-за её любимой поговорки «Am Schnurchen gehen».[2]

Это прозвище относилось, конечно, к её работе. Трудолюбивая, скромная, преданная и лояльная, она представляла собой прекрасный тип секретаря. Когда Шнюрхен брала отпуск или болела, что случалось, правда, очень редко, я убеждался, что без неё я как без рук. Шнюрхен была не только отличным секретарем – она стала неотъемлемой частью всего нашего рабочего процесса.

Так вот, в это утро Шнюрхен, закрывая тяжелую дверь служебного сейфа, прищемила себе большой палец. Бедная девушка была в полуобморочном состоянии, когда я выбежал за доктором. Через день-два боль утихла, и Шнюрхен снова могла приступить к исполнению своих обязанностей, хотя ещё не могла печатать на машинке.

Шнюрхен теперь, вероятно, уже забыла обо всем случившемся и простит меня, если я назову её ранение пустячным. Но тогда мне было вовсе не до шуток, хотя я и не предполагал, что именно это небольшое происшествие станет первым звеном в цепи

неприятных для меня событий.

Вторым звеном оказалось приглашение для Шнюрхен помощницы, которая могла бы печатать на машинке. Так появилась некая Элизабет, впоследствии тесно связанная с операцией «Цицерон» в её самый острый период.

Кстати, настоящее имя этой девушки было не Элизабет. Я не знаю, жива ли она теперь или нет и что с ней случилось после того страшного дня. Ради семьи этой девушки я не назову её настоящего имени и фамилии.

Я, как и все люди, допускал в своей жизни ошибки. Когда впоследствии спокойно анализируешь минувшие события, часто убеждаешься, что в отрицательном исходе многих из них виноват был сам. В данном случае моя ошибка состояла в том, что я доверился человеку, который этого не заслуживал. Элизабет обманула меня и сделала это очень умно. Она все время вела с нами тонкую психологическую игру. Поэтому я слишком поздно понял, что она меня страстно ненавидела.

В начале сентября 1943 года, вскоре после инцидента со Шнюрхен, я вылетел в Берлин. От начала до конца этого путешествия меня преследовали неудачи. Над Черным морем наш самолет был обстрелян – за все время войны это был первый случай, и только чудом мы все уцелели.

Обстановка в Берлине складывалась весьма мрачно. Встреча, оказанная нам на аэродроме, была такой же холодной, как и стоявшая в Европе погода. Началась высадка англо-американских войск в Сицилии, и значительно осложнилось положение на Восточном фронте.

Всё это и определяло настроение на Вильгельмштрассе. Чиновники из министерства иностранных дел заявляли мне и моим коллегам, не вышедшим из призывного возраста, что наша работа бесполезна, что на нас напрасно расходуется дефицитная иностранная валюта и что скоро всех нас отправят на фронт. Нас, как и другие немецкие зарубежные миссии, упрекали в том, что мы вовремя не узнали о намерении союзников высадиться в Северной Африке, а также о многих других событиях, приведших Италию к катастрофе. Поскольку мы не в состоянии добывать необходимую информацию, в один голос заявляли нам берлинские чиновники, в ближайшем будущем мы должны быть готовы сменить мягкие кресла посольств на менее комфортабельную обстановку Восточного фронта.

И лишь перед самым моим отъездом, вероятнее всего, для того чтобы ободрить меня и пробудить оптимизм у турок, мне рассказали о новых образцах секретного оружия и о других невиданных средствах, которые в ближайшем будущем должны

были восстановить незавидное положение Рейха.

Возвращаясь из Берлина, я отлично понимал, что эти новости не смогут произвести нужного впечатления на турок, и был почти уверен, что мне не придется слишком долго оставаться в Турции. Я, конечно, не мог предвидеть, что через несколько недель мне суждено будет вновь возвратиться в Берлин, теперь уже с портфелем, набитым важнейшими документами.

Несколько недель спустя после моего возвращения в Анкару началась операция «Цицерон». Кроме того, произошло ещё одно событие, достойное упоминания. Речь идет о двух людях, которые, как мне вначале казалось, не имели никакого отношения к операции «Цицерон». Им, вернее, одному из них, косвенно пришлось сыграть решающую роль на заключительном этапе этой операции.

Я забыл их имена, так как с тех пор прошло много лет, но это не столь уж важно. Назову их Ганс и Фриц. Это были немецкие летчики в возрасте около 25 лет. Один из них имел довольно привлекательную внешность, а лицо второго было так невыразительно, что я уже почти не помню его. К тому времени, о котором я говорю, они пробыли в Турции всего несколько месяцев. Рассказывали, что недалеко от турецкого побережья они с трудом выпрыгнули с парашютом над Черным морем после неудачного боя с превосходящим числом русских истребителей. Попав на нейтральную территорию, они в соответствии с международным правом были интернированы, но не посажены за колючую проволоку. Турки обращались с ними так же, как и с военнослужащими других стран, что было весьма великодушно с их стороны. Всех их размещали в комфортабельных гостиницах Анкары, причем им разрешалось отлучаться на целый день под честное слово. Единственным ограничением было обязательное возвращение в гостиницу на ночь.

Я очень хорошо помню, как радушно были приняты Ганс и Фриц в немецкой колонии Анкары. В течение нескольких недель их всюду приглашали в гости, помогли приобрести хорошие гражданские костюмы и щедро наделили карманными деньгами. Я помню их весьма патриотические высказывания. Ганс и Фриц очень охотно рассказывали всем, кто только соглашался их слушать, о своих планах побега на родину для скорейшего возвращения на фронт. По крайней мере, так они заявляли.

Когда слухи об этом достигли нашего посольства, мы сочли своим долгом предостеречь их от побега, объяснив, что этим они нарушат свое честное слово и дадут повод к упразднению тех привилегий, которыми пользовались в Турции интернированные военнослужащие стран оси. Но наши опасения оказались

напрасными. В Анкаре они чувствовали себя великолепно. Из того немногого, что я знал о Гансе и Фрице в те дни, я заключил, что столь часто выражаемое ими желание героически умереть было рассчитано главным образом на незамужних женщин немецкой колонии в Анкаре. Жизнь Ганса и Фрица в турецкой столице была заполнена вечеринками и обедами, даваемыми в честь их прошлых заслуг и пылкого стремления к новым подвигам в будущем.

Однако в конце концов как-то возникло подозрение в достоверности воздушного боя над Черным морем. Многие слышали об этом и, наконец, уловили некоторые противоречия в их рассказах. Это и побудило кое-кого сделать запрос в эскадрилью Ганса и Фрица, всё ещё находившуюся в Крыму. Случайно – хотя я не выношу этого слова, когда говорю о чем-нибудь, даже отдаленно связанном с операцией «Цицерон», – первый официальный запрос затерялся где-то по пути из Анкары через Берлин в Крым. Спустя некоторое время был послан второй запрос, но запрашиваемые органы проявили удивительную медлительность с присылкой ответа, и когда он, наконец, пришел, для нас уже не было в нем ничего нового. Мы уже знали, что Ганс и Фриц были просто дезертирами и, пока их чествовала немецкая колония Анкары, получали деньги от британской разведывательной службы. Поэтому мы не очень удивились, узнав, что знаменательный воздушный бой над Черным морем, покоривший так много женских сердец, оказался вымыслом. Авиационное командование информировало нас, что такого-то числа с одного из аэродромов Крыма в испытательный полет поднялся самолет, на борту которого находились два летчика. С того времени никто больше не видел этого самолета.

Таковы основные сведения о лицах, которые оказались вовлеченными в операцию «Цицерон». Говоря о двух дезертирах, я несколько забежал вперед, так как окончательно они были разоблачены лишь много месяцев спустя после памятной ночи 26 октября 1943 года, когда я впервые встретил Цицерона. Но с момента появления Цицерона события развертывались настолько быстро, что не стоило бы отвлекаться для описания прошлой деятельности таких ничтожных по сравнению с Цицероном персонажей, как Ганс и Фриц, да и всех других участников этой драмы, за исключением Элизабет.

# Глава вторая

В этом году в Анкаре стояла очень приятная осень. Лето было жарче обычного, но уже к началу октября установилась прекрасная, мягкая погода. Каждый день светило солнце и приносило нам столько же радостей, сколько и безмятежное ярко-голубое небо, раскинувшееся над обширной анатолийской равниной. Казалось, в мире царит полное спокойствие.

Для меня день 26 октября мало чем отличался от других. В этот день я занимался различными делами, входившими в круг моих обычных занятий. Рано уехав из посольства, я, конечно, и не подозревал, что с наступлением вечера вся моя жизнь потечет по совершенно иному руслу.

В этот вечер я решил рано лечь спать. Немного почитав, я выключил свет и крепко уснул. Меня разбудил телефонный звонок.

Мой квартирный телефон не работал вот уже несколько дней, и это доставляло нам много неудобств. Как раз перед сном мы с женой сетовали, что телефон всё ещё не работает. Поэтому, услышав его настойчивый звонок, я не очень рассердился, что непременно случилось бы, если бы до этого телефон был в исправности.

Впоследствии я часто задумывался над тем, как стала бы развиваться операция «Цицерон», да и вообще могло ли бы все это произойти, если бы телефонная служба Анкары исправила линию на несколько часов позже или если бы ко мне нельзя было дозвониться в ту ночь.

Еще не совсем проснувшись, я снял трубку. Говорила фрау Йенке, жена первого секретаря посольства. В её голосе слышались настойчивость и тревога.

– Будьте добры сейчас же прибыть к нам на квартиру. Мой муж хочет вас видеть!

Я ответил, что уже лег спать, и поинтересовался, что же случилось, но фрау Йенке оборвала меня:

– Дело неотложное. Пожалуйста, немедленно приезжайте!

Моя жена тоже проснулась. Пока я одевался, мы строили различные догадки о том, какое поручение ожидало меня. Быть может, опять какое-нибудь нелепое предписание из Берлина – такие вещи часто случались и раньше. Выходя из дому, я посмотрел на часы: было половина одиннадцатого.

Через несколько минут машина остановилась у главного здания посольства, выстроенного в старом немецком стиле и состоявшего из нескольких отдельных коттеджей, за что турки

прозвали посольство «Алман Кой», то есть «немецкая деревня». Сонный привратник – турок открыл большие железные ворота. Пройдя несколько шагов, я очутился у квартиры супругов Йенке. На мой звонок дверь открыла сама фрау Йенке и в нескольких словах извинилась за беспокойство.

– Мой муж уже лег спать, но он хотел бы видеть вас рано утром. – Затем она указала на дверь гостиной. – Там сидит какой-то очень странный субъект, – продолжала она, – который хочет продать нам что-то. Я прошу вас поговорить с ним и выяснить, в чем дело. Когда будете уходить, пожалуйста, не забудьте закрыть за собой входную дверь. Слуг я отослала спать.

Она вышла, а я, оставшись один в зале, стал размышлять о том, входит ли в обязанности атташе глубокой ночью вести переговоры со «странными» субъектами. Во всяком случае, я решил как можно скорее закончить этот разговор.

Я вошел в гостиную. Тяжелые гардины были спущены, и большая, хорошо обставленная комната, освещённая лишь двумя настольными лампами, казалась более комфортабельной, чем была на самом деле.

В глубоком кресле, стоявшем около одной из ламп, сидел человек. Лицо его было в тени. Он сидел так неподвижно, что его можно было принять за спящего. Он, однако, не спал. Встав, он с тревогой в голосе обратился ко мне на французском языке:

– Кто вы?

Я сказал, что Йенке поручил мне поговорить с ним. Он понимающе кивнул головой. Судя по выражению его лица, теперь хорошо освещённого светом настольной лампы, он почувствовал сильное облегчение.

Казалось, ему уже перевалило за пятьдесят. Его густые черные волосы были зачесаны прямо назад с высокого лба, а темные глаза все время беспокойно перебегали с меня на дверь. У него был твердо очерченный подбородок и небольшой бесформенный нос. В общем, лицо не очень привлекательное. Позже, когда я ближе с ним познакомился, я решил, что лицо этого человека похоже на лицо клоуна без грима, привыкшего скрывать свои истинные чувства.

В течение минуты, показавшейся мне очень долгой, мы молча разглядывали друг друга.

«Кто же он такой? – думал я. – Уж, конечно, не член дипломатического корпуса».

Я сел и знаком пригласил его сесть. Но вместо этого он на цыпочках подошел к двери, быстро отворил ее, а затем молча закрыл. Вернувшись назад, он с облегчением опустился в кресло. В этот момент он в самом деле показался мне странным

человеком.

Запинаясь, он начал говорить на плохом французском языке:

– У меня есть к вам предложение – предложение для немцев… Но прежде чем сказать, в чем дело, я прошу вас дать мне честное слово, что независимо от того, примете ли вы его или нет, вы никогда никому не расскажете о нем, за исключением вашего начальника. Ваша болтливость может стоить жизни и вам и мне. Во всяком случае, я позабочусь об этом, даже если это будет последнее, что я сделаю перед смертью, – и он сделал весьма неприятный, но хорошо понятный жест, проведя рукой по горлу. – Даете мне честное слово?

– Конечно. Если бы я не умел хранить тайн, я не был бы сейчас здесь. Будьте добры объяснить мне, что вам нужно.

И я с нетерпением посмотрел на свои ручные часы. Он тотчас же меня понял.

– У вас сразу появится сколько угодно времени, как только вы узнаете, зачем я пришел сюда. Мое предложение чрезвычайно важно для вашего правительства. Я… – он запнулся.

Мне хотелось бы знать, вызвана ли эта заминка трудностью в разговоре на французском языке или он хотел посмотреть, как я буду реагировать.

– Я могу передать вам очень важные документы – самые секретные из всех, какие только существуют.

Помолчав немного, он добавил:

– Их источник – английское посольство. Ну, как? Это вас интересует, конечно, не так ли?

Я старался казаться равнодушным. Первой моей мыслью было, что это мелкий плут, ищущий легкой наживы. С ним надо быть осторожнее. Незнакомец, словно подтверждая мою мысль, сказал:

– Но я потребую денег за эти документы, – очень много денег. Моя работа слишком опасна, как вы сами понимаете, и если бы меня поймали…

Он вновь провел рукой по горлу, но теперь этот жест предназначался не для меня.

– У вас есть определенные фонды для подобных «покупок», не так ли? Или, быть может, ими располагает ваш посол? Во всяком случае, ваше правительство обеспечит вас этими средствами. Я хочу получить за документы двадцать тысяч фунтов – английских фунтов стерлингов.

– Чепуха, – сказал я, – об этом не может быть и речи. Мы не располагаем здесь такими суммами. Надо иметь что-то чрезвычайно важное, чтобы назначить такую высокую цену. Кроме того, мне хотелось бы сначала посмотреть эти документы. Они

при вас?

Незнакомец откинулся в кресле, и его лицо снова оказалось в тени. Мои глаза уже привыкли к полумраку, и я заметил на его непривлекательном лице улыбку превосходства. Я не знал, что думать. В конце концов, мне абсолютно ничего не известно об этом человеке, кроме того, что он требовал очень большую сумму денег за документы, якобы взятые из английского посольства. Я молчал, и скоро он опять заговорил.

– Я не дурак. Готовясь к этому дню, я потратил годы, тщательно обдумал все стороны дела. Теперь пришло время действовать. Мои условия вам известны. Если вы согласитесь – очень хорошо, если нет…

Незнакомец подался вперед, и свет от лампы ярко осветил его лицо.

– Если вы не согласитесь, то я предложу эти документы им.

Большим пальцем левой руки он указал через окно, затянутое плотными гардинами, в направлении другого иностранного посольства. После минутного молчания он проговорил сдавленным от злобы голосом:

– Я ненавижу англичан…

Не помню, что именно я ответил ему, но в тот момент мне впервые пришла в голову мысль: а что если незнакомец вовсе и не плут? Может быть, он фанатик? Однако запросил он слишком дорого.

Я предложил ему сигарету. Он принял ее, поблагодарив, несколько раз глубоко затянулся и бросил окурок. Подойдя к двери и ещё раз убедившись, что нас никто не подслушивает, он вернулся обратно и встал прямо передо мной. Я тоже поднялся с места.

– Вы хотели бы знать, кто я, не так ли? Мое имя никому не известно и не имеет никакого отношения к делу. Возможно, потом я расскажу вам о своих занятиях, но сначала послушайте. Я даю вам три дня на размышление, Вам придется повидать своего начальника, а он, вероятно, должен будет связаться с Берлином. 30 октября в три часа дня я позвоню вам в посольство и спрошу, получено ли письмо для меня. Я назовусь Пьером. Если вы скажете «нет», то никогда больше меня не увидите. Если вы скажете «да» – это будет означать, что мое предложение принято. Тогда я снова приду в десять часов вечера того же дня. Но не сюда. Мы должны будем договориться о другом месте встречи. Тогда я вам передам две катушки фотопленки, на которых сфотографированы английские секретные документы. Я же получу от вас двадцать тысяч фунтов стерлингов в кредитных билетах. Вы рискуете двадцатью тысячами фунтов стерлингов, а я

– своей жизнью. Если первая партия документов будет одобрена, вы сможете получить вторую. За каждую последующую катушку фотопленки я буду требовать пятнадцать тысяч фунтов стерлингов. Ну, как?

Казалось, в предложении не было обмана, но я был убежден, что из этого ничего не выйдет, так как незнакомец запросил слишком высокую цену. К тому же мы не можем заплатить такие деньги, предварительно не просмотрев документов. Про себя я подумал, что в объяснительной записке, которую мне придется писать обо всем этом, надо будет особо подчеркнуть, какому огромному риску мы подвергаемся. Я был уверен, что предложение будет отклонено.

Тем не менее, мы уговорились, что он позвонит мне в посольство 30 октября в три часа дня, и если его предложение будет принято, то мы встретимся возле сарая для садового инвентаря в глубине сада посольства.

Затем он попросил меня выключить свет в зале и на лестнице, чтобы уйти из дома в полной темноте.

Исполнив его просьбу, я вернулся в гостиную. Незнакомец уже надел пальто и шляпу, которую он надвинул на самые глаза… Было уже за полночь.

Пропуская его, я остановился у двери. Вдруг он схватил меня за руку и прошипел мне на ухо:

– Хотите знать, кто я такой? Я камердинер посла Великобритании.

Не дождавшись, как я отнесусь к этому сообщению, он скрылся в темноте.

Так закончилось мое первое свидание с человеком, которого несколько дней спустя мы стали называть условной кличкой Цицерон.

Я выключил свет в гостиной и вышел из дома Йенке. Уже в саду посольства мне невольно пришло в голову, как сумел человек, которого фрау Йенке отрекомендовала «странным субъектом», найти дорогу в совершенно незнакомом месте, в полной темноте. Я оставил машину во дворе посольства и пошел домой пешком. Была прохладная звездная ночь.

Дома все крепко спали, но мне так и не удалось заснуть.

На следующее утро у меня болела голова и было немного не по себе, как это обычно случается после бессонной ночи. Днем, когда я немного успокоился, ночное происшествие стало казаться мне несколько смешным. Я был склонен вернуться к своему первоначальному мнению о том, что этот человек просто обманщик, пытающийся одурачить доверчивых немцев. Его предложение казалось совершенно фантастическим. Но вдруг это

был как раз тот материал, которого так настоятельно требовал от нас Берлин?

Приняв ванну и напившись крепкого кофе, я почувствовал себя лучше. Пожалуй, у меня нет особых причин волноваться. Ведь от меня не требовалось, чтобы я принял какое-нибудь решение, – это было дело посла или даже Берлина. Моя задача – только доложить о предложении камердинера английского посла.

В это утро я пришел на службу очень рано. Моего секретаря ещё не было, и я мог написать объяснительную записку послу в абсолютно спокойной обстановке.

Подписав ее, я начал размышлять о том, почему таинственный посетитель, назвавший себя камердинером посла Великобритании, явился именно к Йенке. Потом уже я вспомнил о том, что известно всей Анкаре: Йенке – шурин Риббентропа. Этим, вероятно, и объясняется появление незнакомца в его доме. Но вскоре я узнал истинную причину его визита к Йенке, и она почти рассеяла мои подозрения, что его предложение – обман.

Когда я ожидал посла, мне позвонил господин Йенке и попросил зайти к нему. Не в пример мне, супруги Йенке очень спокойно спали ночью.

Сидя с ними за столом, я видел, что Йенке сгорают от нетерпения узнать о событиях минувшей ночи, но мы все молчали, так как в комнате находилась служанка. Казалось, она никогда не уйдет. Пока она разносила кофе и булочки, мы говорили о всяких пустяках.

Нетерпение Йенке забавляло меня – это была своего рода расплата за мою бессонную ночь. Наконец, служанка вышла, и я обратился к его супруге:

– Этот ваш «странный субъект» сделал мне удивительное предложение.

– Я знаю, – прервал меня Йенке. – Перед вашим приходом я перекинулся с ним несколькими словами и решил, что вы самый подходящий человек для переговоров. В моем положении надо остерегаться подобных дел. Его предложение показалось мне, мягко выражаясь, несколько необычным, но это как раз то, чем должны заниматься способные молодые атташе. На дипломатической службе, как вам известно, лишь два человека могут спокойно работать – это атташе и жена первого секретаря. Они могут делать все то, чего нельзя делать другим, при условии, конечно, что их не поймают.

Все мы засмеялись, а жена первого секретаря и я чокнулись чашками с кофе. Затем я обратился к Йенке:

– Значит, вы встретились с этим человеком. Как вы думаете, почему он выбрал именно вас?

– Мы с ним были знакомы, – сказал Йенке. – Шесть или семь лет назад, ещё до моего поступления на дипломатическую службу, он некоторое время работал в нашем доме. С тех пор я его не видел и никак не могу вспомнить его имя, но когда он пришел сюда вчера вечером, я узнал-таки его в лицо. Зачем он приходил? Наверное, ему нужны деньги.

– Да, конечно, ему нужны деньги, – сказал я. – Он хочет получить ни много ни мало двадцать тысяч фунтов стерлингов!

– Сколько?! – воскликнули вместе супруги Йенке. – Двадцать тысяч фунтов стерлингов?!

Я утвердительно кивнул головой и хотел уже рассказать им обо всем подробнее, как зазвонил телефон. Прежде чем идти к Йенке, я попросил секретаря сразу же позвонить мне, как только посол придет на службу. Теперь секретарь сообщала, что фон Папен готов принять меня. Йенке и я отправились к послу.

Мы вошли в кабинет фон Папена, расположенный на первом этаже. Это была большая комната, обставленная просто, но со вкусом. На стенах висели хорошие картины. Совсем седой, но всё ещё очень красивый, посол сидел за письменным столом и в упор смотрел на меня своими выразительными голубыми глазами.

– Ну, господа, что с вами случилось?

– Прошлой ночью, – сказал я, – в доме господина Йенке я имел совершенно необычный разговор с камердинером посла Великобритании.

– С кем? – переспросил фон Папен.

Я повторил и протянул ему объяснительную записку. Он надел очки и начал читать. Читая, посол изредка поглядывал на меня поверх очков, и тогда на его серьезном лице неожиданно появлялось лукавое выражение.

Прочитав объяснительную записку, он отодвинул её на самый край письменного стола, как бы отстраняя от себя всякую ответственность за её содержание. Затем он встал, подошел к окну, открыл его и всё ещё молча стал пристально вглядываться в далекие, подернутые голубоватой дымкой горы. Наконец, он повернулся к нам.

– А какие камердинеры служат у нас в посольстве?

Я посмотрел на посла, затем на Йенке. Никто не сказал ни слова.

– Что же нам делать, господин посол? – наконец, спросил я.

– Не знаю. Во всяком случае, названная сумма слишком велика, чтобы мы были в состоянии сами решить этот вопрос. Составьте телеграмму в Берлин и лично принесите её мне. Тогда мы ещё поговорим.

Я ушел к себе в кабинет, а Йенке остался с послом. Когда

через полчаса я вернулся, господин фон Папен был уже один. В руках у меня был текст телеграммы в Берлин.

– Как вы думаете, что может скрываться за всем этим? – спросил посол.

– Я опасаюсь, господин посол, как бы это не было ловушкой. Сначала они дадут нам, пожалуй, несколько подлинных документов, а потом начнут провоцировать фальшивками. Но допустим даже, что этот человек не обманщик и тут нет никакой ловушки, – все равно мы можем попасть в неприятную историю, если это дело когда-нибудь выплывет наружу.

– Какое впечатление произвел этот человек лично на вас?

– Не очень хорошее, господин посол, хотя к концу нашей беседы я уже был склонен ему верить. Он показался мне не слишком щепетильным. Его ненависть к англичанам, если только она не напускная, может быть одним из мотивов его действий, помимо очевидного стремления заработать изрядную сумму денег. В общем он не произвел на меня впечатления обычного жулика. Однако все это лишь мои предположения.

– Как вы думаете, что сделали бы англичане, если бы кто-нибудь из наших людей обратился к ним с подобным предложением?

– Я думаю, что они обязательно приняли бы его. В военное время ни одна страна не может позволить себе отклонить такое предложение. В мирное время, вероятно, было бы дипломатичнее сделать благородный жест, сообщив обо всем послу Великобритании, и не вмешиваться в это дело. Но в военное время, господин посол…

Посол взял со стола составленную мною телеграмму и внимательно прочитал ее. Затем зеленым карандашом (это был цвет нашего посла – никому другому в посольстве не разрешалось пользоваться зеленым карандашом, подписывая документы) он внес в телеграмму несколько поправок, снова прочел текст и, наконец, подписал его. Лист бумаги стал теперь официальным документом. Фон Папен протянул его мне.

– Прочтите мне его ещё раз, – попросил он. Я прочел:

Лично
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
Совершенно секретно

Один из служащих английского посольства, выдающий себя за камердинера посла Великобритании, обратился к нам с предложением доставить нам фотопленки подлинных совершенно секретных документов. За первую партию документов, которые

будут доставлены 30 октября, он требует двадцать тысяч фунтов стерлингов. За каждую следующую катушку фотопленки нужно будет платить пятнадцать тысяч фунтов стерлингов.

Прошу вашего указания, следует ли принять это предложение. Если да, то требуемая сумма должна быть доставлена сюда специальным курьером не позже 30 октября. Известно, что человек, выдающий себя за камердинера, несколько лет назад служил у первого секретаря нашего посольства. Других сведений о нем не имеем.

Папен.

Телеграмма была тотчас же зашифрована и не позже восьми часов вечера 27 октября передана по радио. Через час она уже лежала на письменном столе Риббентропа.

27 и 28 октября ответа не последовало. К вечеру 28 октября я уже был твердо убежден, что министр иностранных дел, если только он вообще снизойдет до нас, даст отрицательный ответ. До этого уже не раз случалось, что предложения нашего посла отклонялись лишь на том основании, что исходили от него. Некоторые из них могли бы во многом способствовать осуществлению той цели, за которую боролась наша страна. Вражда между министром иностранных дел Германии и канцлером до-гитлеровской Германии была непреодолимой. А раз уж Риббентроп невзлюбил фон Папена, то от него трудно было ожидать положительного решения вопроса. Учитывая все эти обстоятельства, мы были почти уверены, что Берлин ответит отрицательно.

Ночью 28 октября, в канун большого турецкого национального праздника, вся Анкара была залита огнями. 29 октября я почти забыл об ответе, который всё ещё ожидался из Берлина. В этот день нам было некогда думать о чем-либо, помимо наших текущих дел. Кроме выполнения функций, связанных с турецким национальным праздником, 29 октября мы отмечали и день рождения фон Папена. Для нас все это означало массу дел.

После утреннего приема в посольстве, на котором присутствовали посланники всех стран, не являвшихся нашими противниками, и многочисленные турецкие гости, весь дипломатический корпус должен был отправиться на прием, устроенный президентом Турции в здании Национального собрания. На этом официальном приеме присутствовали как наши друзья, так и враги, хотя тактичные хозяева обычно следили

за тем, чтобы представители враждующих стран не встречались в одной приемной. Очевидно, на этот раз что-то помешало им поступить, как обычно. Одетые в дипломатическую форму, при орденах и знаках отличия, все мы во главе с послом прошли вперёд, чтобы каждому в отдельности приветствовать президента Турции.

Через несколько минут, когда мы уже выходили из приемной, я почти столкнулся с почтенным пожилым господином в полной парадной форме. Сначала я не узнал его, но вскоре понял, что это был посол Великобритании, входивший во главе английской миссии в зал в то самое время, когда часть сотрудников германской миссии всё ещё находилась там. Я тотчас же посторонился. Однако, пробираясь к двери, я вынужден был пройти мимо длинного ряда английских дипломатов, смотревших на меня, как мне показалось, несколько враждебно.

Это был последний большой прием у президента Турции, на котором присутствовали дипломатические представители Третьего Рейха. В следующем году к этому времени мы были интернированы и больше не преграждали англичанам дорогу в Турции.

Сразу после полудня на ипподроме состоялся военный парад. Дипломатические ложи заполняли друзья и враги, которых ещё раз тактично отделили друг от друга. Лишь немногие дипломаты нейтральных стран могли занимать любые места.

В военное время дипломаты, аккредитованные в Турции, вели довольно странную жизнь. С одной стороны, им нужно было соблюдать все церемонии мирного времени и дипломатическую вежливость, а с другой – сохранять видимость вражды, разделявшей их страны. Однако дома я всё ещё пил хорошее шотландское виски, а мои коллеги из посольств враждебных стран наслаждались прекрасным немецким рейнвейном. Индийский пряный порошок и венгерская паприка были предметами постоянного международного товарообмена, производившегося, конечно, через турецких слуг. Как граждане нейтральной страны, они находились в выгодном положении, потому что могли поддерживать дипломатические и деловые отношения с обеими сторонами.

Обо всем этом я думал во время великолепного военного парада, устроенного нашими хозяевами специально для нас и наших противников. Всего лишь пять метров отделяло меня от представителей враждебного лагеря, среди которых можно было увидеть много людей с приятными лицами. Но лучше было не смотреть на них – они были нашими врагами, и с этим ничего нельзя было поделать.

Вернувшись после парада в посольство, я узнал, что посол желает немедленно видеть меня. Я отправился к нему в кабинет, где, не говоря ни слова, он протянул мне расшифрованное сообщение. Я прочел следующее:

> Лично
> ПОСЛУ ФОН ПАПЕНУ
> Совершенно секретно
> Предложение камердинера английского посла примите, соблюдая все меры предосторожности. Специальный курьер прибудет в Анкару 30 до полудня. О получении документов немедленно телеграфируйте.
> Риббентроп.

Итак, вопрос был решен без нашего участия. 30 октября ровно в три часа дня в моем кабинете зазвонил телефон. Я схватил трубку. На мгновение сердце мое замерло. Голос звучал в трубке тихо и, казалось, очень издалека.

– Говорит Пьер. Вы получили для меня письмо?

– Да!

– Я зайду к вам сегодня вечером. До свидания!

Он повесил трубку. Я отчетливо услышал, как звякнул рычаг на другом конце провода. Шнюрхен с удивлением посмотрела на меня: когда зазвонил телефон, я выхватил трубку у неё из рук (она собиралась ответить на звонок). В её глазах теперь можно было прочесть невысказанный упрек. Она догадалась, что здесь была какая-то тайна, в которую её не хотели посвящать. Затем я попросил Розу, секретаря посла, передать фон Папену, что я прошу разрешения зайти к нему. Через одну-две минуты она сообщила по телефону, что посол ждет меня. Я тотчас же отправился к нему.

– Камердинер только что звонил, господин посол. Я встречусь с ним сегодня в десять часов вечера.

– Берегитесь, мой мальчик, не позволяйте этому человеку дурачить себя. Откровенно говоря, мне это дело совсем не нравится. Камердинер может вызвать скандал. Здесь этого допустить нельзя. От меня вы получите все необходимые указания, но имейте в виду, что в случае провала я не смогу защитить вас. Вероятно, мне придется даже доказывать, что я ничего не знал о ваших действиях. Особенно позаботьтесь о том, чтобы ни один посторонний человек не знал об этом деле, ни один человек. Помните французскую пословицу: «Предают только свои».

– Я очень много думал об этом, а также о том, как передать ему деньги. Я не дам ему их до тех пор, пока не смогу убедиться,

что фотокопии сняты с подлинных документов. Откровенно говоря, господин посол, меня это дело привлекает не больше, чем вас. Но я сделаю все от меня зависящее. Я прекрасно понимаю, если что-нибудь случится, отвечать буду только один я. Но я уверен, что мы поступили бы неправильно, отклонив это предложение, особенно в военное время. Наши противники не сделали бы этого. Ведь сами мы не забираемся в английский сейф – документы нам приносят. Во всяком случае, мы даже не знаем, выйдет ли что-нибудь из этого. Возможно, все это окажется обманом.

– Может быть, – сказал посол. – Откровенно говоря, я буду не очень огорчен, если это случится. Так или иначе, вручаю вам деньги. Советую сосчитать их.

Господин фон Папен вытащил из среднего ящика письменного стола огромную пачку бумажных денег и придвинул её мне. Значит, берлинский курьер прибыл вовремя. Меня поразил размер пачки, состоявшей из десяти-, двадцати- и пятидесятифунтовых банковских билетов, сложенных отдельно. Неужели в Берлине не могли найти более крупных купюр? Кроме того, все они были подозрительно новыми. Очевидно, лишь небольшая их часть находилась когда-то в обращении, и это вызвало у меня некоторые подозрения.

Посол словно угадал мои мысли.

– Банкноты кажутся слишком уж новыми, – сказал он.

Я пожал плечами и начал считать. Сосчитав деньги, я завернул их в большой лист газеты, лежавшей на столе посла. Когда я уходил из кабинета, господин фон Папен проводил меня до двери.

– Помните, не навлеките на меня беду и не попадите в неё сами!

Прекрасное пожелание, подумал я. К сожалению, ему не суждено было осуществиться.

Прижимая пакет к груди, я сошел с лестницы и через сад посольства прошел в свой кабинет. Деньги я запер в сейф.

Затем я послал за Шнюрхен и сказал ей:

– Между прочим, не дадите ли вы мне и второй ключ от сейфа? С сегодняшнего дня он будет у меня.

Я знал, что обижу ее, но не мог поступить иначе. Шнюрхен удивленно, с обидой посмотрела на меня.

– Вы больше не доверяете мне?

– Дорогая моя Шнюрхен, дело не в том, доверяю я вам или не доверяю. Но могут произойти события, которые, возможно, потребуют, чтобы оба ключа были у меня. Поверьте, я меньше всего хочу вас обидеть.

Она сейчас же отдала ключ, но её лицо всё ещё выражало огорчение. Сначала я пожалел Шнюрхен, но потом вспомнил слова фон Папена: «Предают только свои». Лучше было не рисковать. Но через неделю, когда я должен был ехать в Берлин, Шнюрхен получила ключ обратно, и с тех пор он находился у нее. Это было неизбежно по техническим причинам.

Она никогда не выдала доверенную ей великую тайну.

В тот вечер без десяти минут десять я опустил шторы в своем кабинете и выключил свет в зале, чтобы моего посетителя не могли увидеть с улицы.

В подвальном этаже посольства, где находилась фотолаборатория, уже дожидался готовый к работе вполне надежный шифровальщик, который до войны был фотографом-профессионалом. Если камердинер действительно принесет фотопленку, её нужно будет немедленно проявить. Я сам был фотографом-любителем, но не умел хорошо проявлять. Вот почему в начале операции «Цицерон» мне пришлось прибегнуть к помощи профессионала, но, кажется, он так и не узнал, с чем имел дело. Очевидно, он догадался, что обрабатывал важные документы, но где их достали и для чего они предназначались, он никогда не узнал – по крайней мере, от меня.

Без двух минут десять я стоял в назначенном месте возле сарая в саду посольства. Была темная, хотя и звездная ночь, вполне подходящая для намеченной цели.

Было прохладно и так тихо, что я слышал биение своего сердца. Не прошло и минуты, как я увидел приближавшегося ко мне человека. Напряженно всматриваясь в темноту, я услышал тихий голос:

– Это я, Пьер. Tout va bien?[3]

# Глава третья

От сарая мы молча пошли к посольству. Судя по тому, что он не спотыкался даже в тех местах, где встречались ступеньки (а шли мы очень быстро), у него было, необыкновенно острое зрение. Или, может быть, это место ему хорошо знакомо? Кто знает! Ни один из нас не произнес ни слова.

Через темный зал мы прошли в мой кабинет. Я включил свет, и на мгновение он ослепил нас.

Теперь этот человек не проявлял и признака той нервозности, которая была заметна в нем во время нашего первого свидания. Очевидно, камердинер был в прекрасном настроении и чувствовал себя очень уверенно.

Что касается меня, то, должен признаться, я немного волновался и совсем не был уверен в благополучном исходе дела.

Он заговорил первым.

– Деньги с вами?

Я утвердительно кивнул головой. Он опустил руку в карман пальто и вытащил две катушки фотопленки. Обе катушки лежали у него на ладони, но он отвел руку в сторону, когда я хотел их взять.

– Сначала деньги, – спокойно сказал он.

Я подошел к сейфу. Помню, мне трудно было его открыть, вероятно, потому, что я нервничал. Я стоял спиной к камердинеру, и это усиливало мое волнение. Мне казалось, что этому человеку ничего не стоит ударить меня сзади по голове, пока я открываю сейф, взять деньги и скрыться. В конце концов, в сейфе было двадцать тысяч фунтов стерлингов, кроме документов, которые могли представлять известный интерес для некоторых людей.

Когда, наконец, сейф был открыт и деньги вынуты (руки у меня слегка дрожали), я тотчас же закрыл тяжелую дверь, в спешке чуть было не прихлопнув палец, как это однажды произошло со Шнюрхен.

Я повернулся к камердинеру. Он стоял на том же месте, устремив глаза на завернутую в газету пачку банкнот. Лицо его одновременно выражало любопытство и жадность.

Это был критический момент. Я должен был проявить твердость в своем решении – не давать ему денег до тех пор, пока не смогу увидеть, что покупаю. Развернув деньги, я подошел к письменному столу и начал считать их громко и очень медленно.

Он подошел ближе и, судя по его шевелящимся губам, стал считать вместе со мной.

– Пятнадцать тысяч… две по пятьдесят… пятьсот… семь по пятьдесят… шестнадцать тысяч…

И так до тех пор, пока все деньги не были сосчитаны.

Затем я снова завернул деньги в тот же лист газетной бумаги. Наступил решающий момент.

– Дайте мне пленки, – сказал я, кладя свою левую руку на пачку денег и протягивая правую.

Он отдал мне обе катушки и протянул руку к пачке банкнот.

– Не сейчас, – остановил его я. – Вы получите деньги, когда я увижу, что представляют собой фотопленки. Вам придется подождать здесь четверть часа, пока я проявлю их. Для проявления уже все готово. Деньги вот: вы видели их и сами сосчитали. Если вы не согласны, можете сейчас же забрать свои фотопленки обратно. Ну?

– Вы слишком подозрительны. Вам следовало бы больше доверять мне. Ну, хорошо, я подожду здесь.

Впервые я почувствовал большое облегчение: быть может, это все-таки не обман. Вид денег и то, что я намеренно медленно считал их, произвели нужный эффект. Камердинер, очевидно, уже видел себя обладателем целого состояния и не хотел рисковать из-за простого упрямства. Позже я понял, что деньги дали мне власть над ним.

Он стоял совершенно неподвижно, пока я запирал сверток в сейф. К этому времени я совсем успокоился. Критический момент прошел.

– Курите! – я протянул ему свой портсигар, и он взял несколько сигарет.

– Этого мне хватит до вашего возвращения, – спокойно сказал он.

Он сел и закурил сигарету. Я закрыл кабинет снаружи на ключ, чтобы ночной сторож не вошел в комнату при обходе. Камердинер, должно быть, слышал, как повернулся ключ, но, к моему удивлению, не протестовал против того, что его запирают, словно арестованного.

Положив обе катушки в карман, я поспешил в фотолабораторию, где меня ожидал фотограф.

Он уже сделал все необходимые приготовления. Проявитель был готов и доведен до нужной температуры. Фотограф тотчас же положил обе пленки в бачки с проявителем. Я попросил его объяснять мне подробно все, что он делает, так как в дальнейшем намеревался делать это сам. Времени потребовалось больше, чем я предполагал.

– Можно закурить? – спросил я.

– Конечно, пока фотопленки находятся в бачках с

проявителем.

Фотограф работал при красном свете. Минут через десять был открыт первый бачок. Я сам вынул катушку, промыл ее, а затем опустил в бачок с закрепителем. За первой плёнкой последовала вторая. Прошло несколько минут. Мне казалось, что время тянется очень медленно. Наконец, фотограф сказал:

– Первая должна быть уже готова. – Он посмотрел один конец пленки на свет.

Несмотря на небольшой размер пленки, был ясно виден текст, напечатанный на машинке. Значит, технически фотографирование было произведено безукоризненно. Затем обе драгоценные пленки были опущены в бачок для промывания. Я с нетерпением наблюдал. Ещё несколько минут, и мы узнаем, что же мы покупаем за такую высокую цену.

Я повесил мокрые пленки на веревочку. Комната теперь была ярко освещена. Взяв сильное увеличительное стекло, я склонился над плёнками и свободно прочел текст:

«Совершенно секретно. От Министерства иностранных дел посольству Великобритании. Анкара.»

Документ был датирован совсем недавним числом. Я быстро просмотрел его и убедился в чрезвычайной государственной важности содержащихся в нем сведений.

Я выпроводил фотографа, попросив его вернуться минут через пятнадцать, и тщательно закрыл дверь на ключ, а затем прошел в свой кабинет. Камердинер сидел на том же месте, где я его оставил. Лишь наполненная окурками пепельница говорила о том, что ждать ему пришлось довольно долго. Однако он не проявил никаких признаков нетерпения или раздражения и только спросил:

– Ну, как?

Вместо ответа я открыл сейф, вынул оттуда сверток с деньгами и протянул ему. Я дал ему также заранее заготовленную расписку в получении двадцати тысяч фунтов стерлингов, но он с надменным видом оттолкнул ее. Должен признаться, что в этот момент я почувствовал себя неловко.

Затем он сунул сверток под пальто, которое не снимал, надвинул шляпу на самые глаза и поднял воротник пальто. В темноте даже близкий друг не узнал бы его.

– Au revoir, monsieur,[4] – сказал он. – Завтра в то же самое время.

Он коротко кивнул мне головой и исчез в темноте.

Когда я пишу эти строки, я очень отчетливо представляю себе все события той ночи. На память снова приходят, казалось, уже

забытые фразы, отчетливо вспоминается ссутулившаяся фигура этого человека и странное выражение его лица. Это было лицо раба, который давно вынашивал честолюбивую мечту о власти и, наконец, достиг ее. Всего час назад он вошел в мой кабинет простым слугой, а уходил из него богатым человеком. Я всё ещё слышу насмешливый и торжествующий тон его голоса, когда он, сжимая драгоценную пачку денег, спрятанную под пальто, говорил мне:

– A demain, monsieur. A la meme heure![5]

Когда я оглядываюсь на все это, мне кажется, будто я вспоминаю сцены из какой-то другой жизни. Однако я хорошо помню, что я пережил тогда в последующие несколько часов. Я не лег спать, а, закрывшись на ключ в своем кабинете, несколько часов подряд читал, анализировал, делал заметки, снова читал. Ночь приближалась к концу, и постепенно многое из того, что казалось мне запутанным и непонятным в международных вопросах, становилось ясным благодаря этим документам, написанным холодным, деловым языком. Измученный переживаниями и работой, я заснул прямо за письменным столом и проснулся на следующее утро от стука в дверь – это пришла Шнюрхен.

Вернемся теперь к тому моменту, когда ушел камердинер. Прежде всего я снова спустился по узкой лестнице в фотолабораторию. Узкие полоски фотопленки всё ещё лежали в бачке для промывания, и я ждал возвращения фотографа. Наконец, он пришел и положил фотопленки в сушильный шкаф. Мне очень не хотелось прибегать в этот момент к посторонней помощи. Однако не думаю, чтобы фотограф хоть сколько-нибудь подозревал о происходящем.

Я сидел перед увеличителем, и фотограф давал мне пояснения о наведении фокуса, о продолжительности экспозиции и о приготовлении растворов проявителя и закрепителя. С его помощью мне удалось отпечатать несколько снимков. Убедившись, что могу работать самостоятельно, я поблагодарил фотографа и отпустил его спать. Было приятно остаться, наконец, одному.

В обеих катушках всего было пятьдесят два кадра, которые я довольно быстро начал печатать. Воздерживаясь пока от изучения документов, я смотрел лишь за тем, чтобы после увеличения буквы были ясными и отчетливыми.

Прошло несколько часов. Было почти четыре часа утра, когда я закончил работу. Передо мной лежали пятьдесят два снимка, хорошо высушенных и отглянцованных. Я не чувствовал никакой усталости.

Затем я тщательно осмотрел комнату и убедился, что ничего не оставил в ней. Некоторые из первых отпечатанных мною снимков были испорчены, и поэтому пришлось сделать один-два дубликата. Я хотел сжечь их, но в здании было центральное отопление, а разводить открытый огонь я не рискнул. Поэтому я разорвал дубликаты на мелкие кусочки и выбросил в уборную. Затем, осторожно неся фотопленки и пятьдесят два снимка, я вернулся в свой кабинет и запер за собой дверь.

Помню, с каким наслаждением после многих часов напряженной работы выкурил я первую сигарету. Пятьдесят два отглянцованных снимка лежали на письменном столе, всё ещё не прочитанные. Теперь, наконец, я мог не торопясь приняться за их изучение.

Мое удивление все возрастало. Трудно было поверить, что на моем письменном столе лежат документы, в которых содержатся наиболее тщательно охраняемые тайны нашего противника – как политические, так и военные. Документы настоящие – в этом теперь не было ни малейшего сомнения. О таких материалах агент разведки мог только мечтать в течение всей своей жизни, не надеясь, что они когда-нибудь попадут в его руки. Уже один взгляд на документы убеждал, что камердинер оказал Третьему Рейху неоценимую услугу. Назначенная им цена уже не казалась чрезмерно высокой.

Привыкнув работать по определенному плану, я попытался сначала разложить фотоснимки по степени их важности. Но это оказалось невозможным – каждый из них был очень интересным. В конце концов, я разложил документы просто по датам, проставленным на них.

Большинство документов было датировано последними числами, давность же остальных не превышала двух недель. Они представляли собой переписку министерства иностранных дел Англии и английского посольства в Анкаре и включали в себя инструкции, вопросы и ответы на вопросы. Многие из них касались политических и военных событий огромного значения. На каждом документе в верхнем левом углу стоял гриф «Совершенно секретно». Кроме даты, было также указано время отправления и получения их радистами. Эта важная техническая пометка оказала позже, по утверждению Берлина, существенную помощь экспертам в раскрытии английского дипломатического шифра.

Особую ценность для нас имели телеграммы министерства иностранных дел Англии, касавшиеся отношений между Лондоном, Вашингтоном и Москвой. Из других документов было ясно, что сэр Хью хорошо информирован в политических и

военных вопросах, так как занимает очень важный пост и пользуется большим уважением и доверием Лондона.

В руках немца эти документы говорили о ещё более важных и зловещих признаках. Невозможно было сомневаться в решимости и способности союзников уничтожить Третий Рейх. И это должно было произойти довольно скоро. Документы убеждали, что руководители нацистской Германии ведут нашу страну к гибели. Здесь, в этих фотоснимках решалась наша судьба. Несколько часов бессонной ночи провел я, согнувшись над документами. Как показывали цифры и факты, союзники обладают такой огромной мощью, что Германия может выиграть войну только чудом. Это не была пропаганда. Каждый мог видеть в этих документах будущее, которое нас ожидает.

Над величественной анатолийской равниной уже давно рассвело, а я всё ещё сидел над своими снимками за плотно занавешенными окнами. Я думал о том, сумеют ли руководители Германии, находящиеся далеко в Берлине или в ставке фюрера, осознать все значение этих документов. Если да, то для них остается лишь один путь.

Но я ошибся. Эти люди, убедившись, наконец, в подлинности документов, не захотели верить очевидным фактам и использовали их лишь как материал для бесконечных и бесплодных споров.

До конца войны в Берлине тешились мыслью, что удалось так ловко похитить у англичан секретные сведения. Но в стратегических целях эти документы никогда не были использованы. Единственное практическое применение они нашли у шифровальщиков. Неприятно сознавать, что тяжелая и опасная работа, проделанная нами, в конечном счете оказалась совершенно бесцельной.

Но все это было далеко в будущем, а пока я, сидя над материалами, незаметно для себя склонил голову на руки и заснул.

Сильный стук в дверь разбудил меня. Это пришла Шнюрхен.

Хорошо зная правила дипломатической службы, она не удивилась, найдя меня закрывшимся в кабинете в девять часов утра.

Через несколько часов, усталый и небритый, я сидел на диване в маленькой приемной посла. Было первое холодное осеннее утро. От изнеможения и холода меня слегка лихорадило.

Фрейлен Роза – секретарь посла (она работала у него ещё до прихода Гитлера к власти, когда фон Папен был канцлером и даже, по-моему, раньше) то входила в приемную, то выходила обратно в кабинет посла. В ожидании его прибытия она с

присущей ей аккуратностью разбирала почту и утренние газеты, Роза не одобряла посетителей, являвшихся рано утром, – они мешали ей разбирать почту. Было ясно, что она не одобряет также и моего растрепанного вида, и моей щетины, которая успела отрасти со вчерашнего утра. Она ничего не сказала, но, судя по выражению её лица, считала, что являться на прием к его превосходительству в таком виде совершенно неприлично.

Чтобы чем-нибудь заняться, я начал перебирать лежавшие в моей папке фотоснимки. Я держал их обратной стороной к Розе. Вид фотографий все же пробудил у неё любопытство:

– Должно быть, у вас важное дело, если вы решились так рано побеспокоить посла. Что у вас в папке?

– Ничего подходящего для ваших целомудренных глаз. Розочка. Несколько обнаженных красавиц – голые факты, если так можно выразиться.

– Вы говорите непристойности. Как вам не стыдно?

Я больше не слушал её и от скуки стал считать снимки.

– …47, 48, 49, 50, 51… – Конечно, я ошибся из-за болтовни Розы! Я начал считать снова.

– …49, 50, 51…

Невероятно! Всего несколько минут, назад в своем кабинете я насчитал пятьдесят два снимка. Стараясь быть спокойным, я опять начал считать и опять насчитал только пятьдесят один снимок.

– Фрейлен Роза, не поможете ли вы мне немного?

Она подошла ко мне и посмотрела на пачку снимков, лежавших обратной стороной вверх.

– Будьте добры, посчитайте их, но не переворачивайте!

Она стала считать, а я внимательно следил за нею.

– Пятьдесят один, – сказала Роза.

Где же мог быть пятьдесят второй? Неужели я потерял его? Если так, то это случилось, когда я шел из своего кабинета в приемную посла. Схватив под мышку папку с фотографиями, я рывком открыл дверь и сбежал вниз. У парадной двери я почти столкнулся с послом, но не остановился и не сказал ни слова. Фон Папен посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

В саду я обшарил каждый дюйм дорожки, по которой шел к послу, – ничего не было. Я поспешил в свой кабинет. Шнюрхен спокойно сидела за письменным столом.

– Я ничего не оставлял, здесь? Фотографию, например?

– Я ничего не видала.

Я обыскал все ящики своего письменного стола, осмотрел все под столом, поднял ковер и посмотрел под ним, – ничего.

«Конец», – подумал я.

– Что вы сказали? – спросила Шнюрхен. Должно быть, я застонал вслух. Дрожа всем телом, я снова выскочил из кабинета. Ведь никто не мог украсть его, пока я шел из своего кабинета в приемную посла. Но вдруг кто-нибудь уже подобрал фотоснимок? Да поможет нам всем бог, если он попал в руки лица, к которому ему не следует попадать! Делать было нечего. Я должен тотчас же рассказать о случившемся послу.

Внезапно меня осенила новая мысль – ведь можно сделать другой отпечаток вместо пропавшего снимка и положить его вместе с остальными. Но я прогнал от себя эту мысль и с тяжелым сердцем побрел в главный корпус посольства.

Не доходя до ворот, я ещё раз оглянулся вокруг. На дорожке и рядом с ней ничего не было, и вдруг… там… там, у самых ворот…

Я побежал.

Это был пятьдесят второй снимок, лежавший лицевой стороной вниз. Привратник-турок стоял всего в нескольких шагах от него, но он не мог видеть снимка, так как его заслоняли полураскрытые железные ворота.

За последние двадцать минут здесь прошло, наверное, немного людей, но в нескольких метрах отсюда находился знаменитый бульвар Ататюрк с непрерывным потоком пешеходов. Легкий порыв ветра – и наша тайна могла бы стать достоянием всего мира.

Я поднял фотоснимок, стараясь казаться возможно более безразличным, так как привратник смотрел в мою сторону. С той же несколько преувеличенной небрежностью я положил снимок в карман. Надо было соблюдать приличие.

Вернувшись в свой кабинет, я тяжело опустился в кресло.

– Шнюрхен, дайте мне, пожалуйста, стакан воды!

Медленно глотая воду, я постепенно приходил в себя. Пересчитав фотоснимки, – на этот раз их было пятьдесят два, – я опять отправился к послу.

Он принял меня улыбаясь. Очевидно, фрейлен Роза успела рассказать ему о моем странном поведении.

– Что случилось с вами сегодня утром, Мойзиш? Вы бегаете, как сумасшедший, чуть с ног меня не сбили!

– Простите, господин посол, но в тот момент я вдруг вспомнил, что забыл взять с собой одну вещь.

Тактичный, как всегда, фон Папен не спросил меня, что именно я забыл, и это было для меня истинным облегчением.

– Понятно. Ну, а как насчет вашего камердинера? Избавились ли вы от двадцати тысяч фунтов стерлингов? Из слов фрейлен Розы я понял, что за эти деньги вы получили коллекцию

фотоснимков купающихся красавиц.

Посол в это утро был в хорошем настроении.

– Я думаю, ваше превосходительство, что вы найдете моих купающихся красавиц такими же привлекательными, какими нашел их я. Этот человек принес две катушки фотопленки. В них пятьдесят два кадра, которые я проявил и увеличил. Мне кажется, уплаченная за них сумма ничтожна по сравнению с важностью документов. Вот они, господин посол.

Я протянул ему папку. Он взял её и надел очки.

– Невероятно, – пробормотал он, едва пробежав глазами первый документ.

Переворачивая фотоснимки один за другим, фон Папен волновался все больше и больше. А я после напряженной ночи едва удерживался, чтобы не заснуть.

– Боже мой, вы видели этот снимок?

Громкий голос посла заставил меня встряхнуться. Фон Папен протянул мне один из документов, в котором приводились мельчайшие подробности о постепенном просачивании в Турцию личного состава военно-воздушного флота Англии. Цифры были очень значительные, гораздо более значительные, чем мы могли бы предполагать.

– В этом нет ничего хорошего, – сказал фон Папен. – Берлину это не понравится.

Затем посол прочел ряд сообщений, касавшихся поставок вооружения Советам (поставки его по ленд-лизу начались недавно). Это, несомненно, должно было вызвать серьезное замешательство в ставке фюрера.

В следующем документе, предназначенном лишь для посла Великобритании, давалась оценка взаимоотношений между Лондоном, Вашингтоном и Москвой. Русские настаивали на немедленном открытии второго фронта, давая тем самым понять, что они не считают итальянскую кампанию значительным вкладом в общее дело союзников. Казалось, Москва не только проявляла нетерпение, но и подозревала об истинных намерениях своих союзников. Этот документ был очень важен для Риббентропа, который был убежден в неминуемом развале, как он однажды выразился, «святотатственного союза».

Фон Папен продолжал просматривать документы. Время от времени он качал головой, произнося вполголоса:

– Невероятно!.. Непостижимо!..

Закончив первое поверхностное ознакомление с документами, он откинулся на спинку кресла и погрузился в размышление. Он не высказал никаких комментарий по поводу того, что прочел.

– Итак, господин посол, что вы об этом думаете? – отважился спросить я.

– Если эти документы настоящие, а я не имею оснований сомневаться в этом, то они имеют огромную ценность. Но мы должны помнить, что все это может оказаться очень хитро подстроенной ловушкой. Было бы большой ошибкой недооценивать англичан. Следующая партия документов, доставленная камердинером, поможет нам решить, как быть дальше. Кстати, когда вы снова увидите его?

– Завтра, в десять часов вечера.

– Он действует слишком уж поспешно. Будем надеяться, что все обойдется хорошо. Где вы встречаетесь с ним?

– В саду, возле сарая для инвентаря. Он перелезает там через забор, а затем я увожу его в свой кабинет.

– Кто об этом знает?

– Никто, господин посол, за исключением вас, супругов Йенке и меня.

– А ваш секретарь?

– Она не знает.

– На неё можно положиться?

– Вполне, господин посол.

Фон Папен взял папку и снова начал просматривать снимки. После небольшой паузы он сказал:

– Я собираюсь отдать приказ о введении более строгих правил по сохранению тайны среди нас самих и довести эти правила до сведения каждого сотрудника посольства. Раз уж англичане попали в такую беду, то не исключено, что это может случиться и с нами. К тому же…

Он замолчал. Затем, спустя некоторое время, добавил:

– Так вот, я должен буду сообщить об этом министру иностранных дел. А пока документы будут находиться у меня в кабинете. Вы говорите, их пятьдесят два?

Неужели мне только показалось, что в его глазах промелькнула искорка насмешки? Я почувствовал, как при внезапном напоминании о том, что совсем недавно их было пятьдесят один, у меня по спине пробежали мурашки.

– Да, господин посол, пятьдесят два.

Теперь посол занялся просмотром фотопленки. Поскольку ни он, ни я не были специалистами в фотографии, это ничего нам не дало.

– Наше дитя пора крестить, – задумчиво сказал посол. – Чтобы говорить о камердинере в нашей переписке, мы должны дать ему кличку. Как нам назвать его? Вы ничего не придумали?

– Нет, господин посол. А если назвать его Пьером? Так он

называет себя, когда звонит мне по телефону. Я уверен, что это не настоящее его имя.

– Не подойдет, мой мальчик. У вас очень бедное воображение. Ему нужно дать такое имя, которого он не знал бы сам. Поскольку его документы красноречиво говорят о многом, назовем его Цицероном. Что вы на это скажете?

Так пятидесятилетний камердинер посла Великобритании был вторично окрещён германским послом. Он получил имя великого римлянина. Не постигнет ли его та же судьба? Я никогда не испытывал особой любви к Цицерону, но и не желал ему зла. Я честно старался как можно дольше сохранить его тайну. Достоянием истории останется лишь факт, что он снабжал Третий Рейх наиболее секретными документами английского правительства. Каково бы ни было его настоящее имя, потомству он будет известен под кличкой «Цицерон».

Простой слуга, а не специалист-фотограф, Цицерон фотографировал с технической точки зрения блестяще. Он пользовался обычным аппаратом «Лейка», но владел им с необыкновенным мастерством.

Цицерон не сделал ни одного выстрела, никого не отравил, никого, кроме себя, не подвергал опасности, никого не подкупал и не шантажировал, как это обычно делали известные шпионы периода первой и второй мировых войн. Если судить беспристрастно, можно сказать, что операция «Цицерон» была проведена почти безукоризненно. В политическом отношении, как выяснилось потом, она сыграла незначительную роль. Англичане мало пострадали из-за неё главным образом потому, что германские руководители не сумели использовать те жизненно важные сведения о противнике, которые были им предоставлены.

Какое воздействие оказала операция «Цицерон» на германских руководителей как с политической, так и с военной точки зрения, мы узнаем из последующих событий, изложенных в этой книге.

# Глава четвертая

Днем я выспался, отдохнул и снова готов был взяться за работу. Конец дня у меня прошел в подготовке к предстоящей ночи. Я купил «Практическое руководство для фотографа-любителя» и по его указаниям составил проявитель и закрепитель.

Затем я снова беседовал с послом, причем в кабинете фон Папена находился Йенке. В этот день господин фон Папен посвятил большую часть своего времени и до и после обеда тщательному изучению доставленных Цицероном документов. Теперь он уже не сомневался в их достоверности. В министерство иностранных дел была послана шифрованная телеграмма, в которой Риббентропу были переданы все наиболее важные сведения политического характера. Сообщения же, представлявшие чисто военный интерес, перед отправкой их верховному командованию были переданы на рассмотрение германскому военному атташе в Анкаре.

Посла, Йенке и меня интересовали некоторые технические вопросы, касавшиеся самих условий фотографирования.

Прежде всего, как мог простой камердинер получить доступ к секретным документам?

Имел ли он помощника? Был ли кто-нибудь ещё из английского посольства посвящен в это дело?

Как камердинер фотографировал документы?

Выбирал ли он наиболее интересные?

Если так, то чем объяснить, что некоторые из полученных нами документов были очень важными, другие же имели сравнительно небольшую ценность?

Фотографировал ли он в самом английском посольстве или в каком-нибудь другом месте?

Каковы мотивы действий Цицерона, кроме его очевидного стремления заработать деньги?

За что он так сильно ненавидел англичан, как он сам это утверждал, и как ему, камердинеру, удалось заручиться таким доверием посла?

Почему он настаивал, чтобы ему платили в фунтах стерлингов – валюте, сравнительно редко встречающейся в Турции и, конечно, гораздо менее ходкой, чем золото или доллары?

Логично было бы предположить, что когда он решил заняться этой работой, он надеялся на поражение англичан или, может быть, даже ожидал его. Но поражение это привело бы к

обесценению английской валюты. Почему же тогда он так настаивал на фунтах стерлингов?

Все эти вопросы я записал, чтобы позже выяснить их у Цицерона.

Постепенно, в течение всего периода нашего знакомства, он вполне правдоподобно ответил на большинство из них. Лишь в одном пункте я уличил его во лжи. Это случилось, когда я спросил его, почему в разговоре со мной он пользуется французским языком, на котором говорит очень плохо, тогда как, будучи камердинером посла Великобритании, он должен был свободно говорить по-английски. Он отрицал, что говорит по-английски. Мне показалось это странным и маловероятным. Позже мои подозрения оправдались – Цицерон солгал мне.

Ровно в десять я пошел в сад, к сараю. Цицерон был уже там. Он встретил меня, как старого друга, спросил, все ли в порядке и одобрены ли документы, доставленные прошлой ночью. Я успокоил его.

Когда мы пришли в мой кабинет, я запер дверь на ключ. Цицерон принял те же меры предосторожности, что и в доме Йенке, – отодвинул в сторону длинные гардины и убедился, что никто не подслушивает. Я позволил ему все это проделать. Казалось, он не спешил. Я сел за письменный стол, а он на приготовленный для него стул напротив меня. На столике сбоку стоял графин с виски и лежали сигареты. Моя кухарка-турчанка навестила днем одну из своих подруг в английском посольстве и обменяла три бутылки рейнвейна на бутылку шотландского виски.

Цицерон налил себе вина, а затем молча положил на письменный стол две катушки фотопленки. Я взял их и запер в ящик письменного стола. Теперь нужно было объяснить ему, что в данный момент у меня нет денег в английской валюте, но что они в ближайшем будущем будут присланы из Берлина. Я немного беспокоился, как он воспримет это. Но он прервал меня:

– Ничего, тридцать тысяч фунтов стерлингов за эти две фотопленки вы отдадите мне в следующий раз. Вы ведь сами заинтересованы, чтобы я был доволен. Я доверяю вам и приду ещё раз.

Приятно было сознавать, что мое слово стоит тридцать тысяч фунтов стерлингов. Теперь я почти не сомневаюсь, что тогда он больше верил в ценность своего товара, чем в обещания какого-то малоизвестного ему атташе.

Я выпил за его здоровье, и он очень любезно ответил на мой тост.

– Вчера ночью я был просто поражен техническим

совершенством вашей работы, – сказал я, переходя на тон непринужденной беседы. – Вы работаете один или у вас есть помощник? Но как бы вы ни работали, совершенно очевидно, что вы прекрасный фотограф.

– Я уже много лет занимаюсь фотографией. Мне никто не помогает. Я делаю все сам.

– Где вы это делаете – в посольстве или где-нибудь ещё?

– В посольстве, конечно…

– Меня очень интересует, как вы фотографируете и когда?

– Разве недостаточно того, что я доставляю вам документы? – спросил он, внезапно раздражаясь. – Может быть, я расскажу вам когда-нибудь об этом, только не сейчас.

Было ясно, что сегодня я ничего больше от него не добьюсь. Уходя, он попросил меня достать ему новый фотоаппарат.

– Я фотографировал немецкой «Лейкой», – сказал он, – которую взял у одного приятеля. Но скоро я должен буду её вернуть. Достаньте мне другую, самую обыкновенную. Хорошо, если бы её прислали из Берлина, потому что кто-нибудь, возможно, ведёт учёт фотоаппаратов, продаваемых здесь, в Анкаре.

Очевидно, он все продумал. Но его рассказ не удовлетворил меня – я так и не узнал, как именно он работает. Но пока оставалось только поверить, что он работает один и что никто ничего об этом не знает.

Он пробыл у меня почти до полуночи.

– Когда мы снова увидимся? – спросил я.

– Я позвоню вам, когда у меня будет что-нибудь новенькое, но в посольство больше не приду. Это слишком рискованно. Мы встретимся в старой части города на какой-нибудь темной улице. У вас, конечно, есть своя машина?

Я утвердительно кивнул головой.

– Лучше было бы установить место встречи сегодня же вечером. Надо выбрать такое место, где вам не нужно будет останавливаться. Вы просто будете ехать потихоньку, с потушенными фарами. Доехав до условленного места, откроете дверцу машины, а я вскочу в нее. Если на улице будет ещё кто-нибудь, сделайте вид, что не замечаете меня, обогните квартал и захватите меня, когда улица будет пуста. Хорошо бы прямо сейчас поехать в город и установить место нашей встречи.

– Вот ещё что, – продолжал он, когда я уже хотел отправиться за машиной. – На случай, если наш разговор по телефону будет подслушан (всякое случается в наши дни), я всегда буду называть время на двадцать четыре часа позже того, которое действительно имею в виду. Если, например, я говорю, что ожидаю вас на игру в

бридж в такое-то время восьмого числа, то это будет означать, что я жду вас в это же время седьмого. Так я буду чувствовать себя в большей безопасности.

Да, кажется, он в самом деле все продумал. Я пошел за машиной, а Цицерон остался в кабинете. Случилось так, что мой собственный старый «Мерседес» находился в это время в ремонте и я попросил машину на время у своего друга. Это был большой новый «Опель», похожий на многочисленные американские автомобили, на которых ездили члены дипломатического корпуса. Через несколько дней я купил эту машину – для наших целей она оказалась очень удобной. Днем же я продолжал ездить на своем стареньком «Мерседесе», который хорошо знали в Анкаре.

Когда в эту ночь я подъехал на «Опеле» к посольству, Цицерон сел на заднее сиденье и тщательно занавесил окна. Следуя его указаниям, я вел машину по темным улицам старой части города. Наконец, он велел остановиться у пустыря между двумя домами.

– Здесь будет пока место наших встреч, – сказал он.

Я постарался запомнить это место. Оно находилось недалеко от перекрестка, и его легко было найти. Цицерон снова проявил большую проницательность.

– А теперь не отвезете ли вы меня в английское посольство?

– Куда? – переспросил я.

– В английское посольство, в Канкайя.

Я решил, что неправильно его понял.

– Вы хотите, чтобы я отвез вас в английское посольство?

– Почему бы и нет? Я там живу.

«Рискованно», – подумал я, но ничего не сказал и поехал дальше. Машина была в прекрасном состоянии и легко шла по крутому подъему в направлении к новой части города, где находилось большинство посольств.

На темном фоне неба уже можно было ясно различить силуэты двух больших зданий английского посольства. Еще короткий прямой пролет, затем крутой поворот, и через несколько секунд я буду у главных ворот посольства. Вдруг у меня мелькнула мысль, что это ловушка, но раньше, чем мы доехали до угла, я услышал позади себя голос Цицерона:

– Теперь поезжайте медленно, но не останавливайтесь.

Я снял ногу с педали газа. Мы огибали угол, и надо было внимательно смотреть на дорогу. Я слышал, как слабо щелкнула, а затем почти бесшумно захлопнулась задняя дверь. Я оглянулся. Цицерона уже не было.

Через несколько минут я остановил машину у ворот

германского посольства. По-видимому, все спали. Здание посольства было погружено в полный мрак, лишь в квартире Йенке всё ещё горел свет. Я знал, что они устраивали небольшую вечеринку. Это было очень кстати: привратник-турок, открывший ворота, несомненно, принял меня за одного из гостей.

Я пробрался вниз, в фотолабораторию, неся в руках новые катушки фотопленки.

«Практическое руководство для фотографа-любителя» оказалось полезным. Через час на веревочке между электрическим нагревателем и вентилятором уже сушились две мокрые пленки.

И на этот раз фотографии были выполнены безукоризненно. Сгорая от любопытства и волнуясь, я взял увеличительное стекло и попытался хоть что-нибудь прочесть на совсем ещё мокрой пленке. Но почти ничего не было видно – приходилось ждать, пока пленки просохнут. Я закрыл комнату на ключ и вышел в темный сад.

В квартире Йенке горел свет, хотя было уже почти два часа ночи. Я пошел к ним и попросил дать мне крепкого кофе. За двумя столами шла игра в покер. Йенке, желая узнать новости, отвел меня в тихий уголок гостиной.

Я рассказал ему, что Цицерон опять был у меня и что в фотолаборатории сушатся две новые пленки. Он хотел знать содержание новых документов, но я мог сказать ему лишь то, что они помечены грифом «Совершенно секретно». Узнать о них подробнее можно было только утром.

Поскольку японский посол уходил домой, а гости, игравшие за его столом, не хотели прекращать игру, мне пришлось занять его место, но я никак не мог сосредоточиться на игре и все думал о тех новых тайнах, которые ожидают меня в фотолаборатории. Да и как мог я думать о картах моего партнера, если меня занимала куда более интересная игра.

К трем часам ночи вечер окончился. Мне пора было возвращаться к своей работе. Попрощавшись с гостями, я ушел. Никто не заметил, что я остался в здании посольства, а не вышел со всеми.

Вернувшись в фотолабораторию, я увидел, что обе пленки вполне просохли, и тотчас же занялся печатанием. Часам к шести утра на моем письменном столе уже лежало сорок снимков с английских секретных документов.

К восьми часам я бегло ознакомился с их содержанием.

Затем я запер документы в сейф и через заднюю дверь, ведущую в сад, вышел из посольства. После двух бессонных ночей приятно было подышать бодрящим утренним воздухом.

Когда я пришел домой, жена только что встала. Она встретила меня вопрошающим взглядом. Нетрудно было угадать направление её мыслей.

– Работа, дорогая, только работа! Я всю ночь работал в посольстве, если не считать нескольких партий в покер, которые мы сыграли у Йенке. Ты удовлетворена?

Я думаю, она все поняла. Что касается меня, то я хотел только спать. Я лег и попросил разбудить меня в одиннадцать часов. Поспав два с половиной часа, я почувствовал себя вполне отдохнувшим.

Не было ещё двенадцати часов, когда я вошел в кабинет посла. В моем портфеле лежало сорок новых документов. Среди них были первые протоколы Московской конференции, на которой присутствовали Иден и Корделл Хэлл.

Вопросы, обсуждавшиеся на конференции, носили такой секретный характер, что Уинстон Черчилль мог бы говорить о них лишь на закрытом заседании палаты общин.

Моя ежедневная работа в последующие две недели состояла главным образом в составлении и зашифровке сообщений для Берлина. Вскоре я совершенно изнемог, так как для сохранения тайны мне приходилось самому выполнять всю ту работу, которую в обычных условиях проводили другие служащие посольства.

Много забот прибавлял Берлин, присылая мне длинные списки вопросов о Цицероне, на которые требовалось тотчас же давать исчерпывающие ответы. Только ясновидец, каким я, к сожалению, не был, мог ответить на большинство этих вопросов.

Берлин снова и снова требовал точных сведений о настоящем имени Цицерона, о месте его рождения и его прошлом. Разве это имело какое-нибудь значение? Важен был сам материал, который он нам доставлял. Лично меня настоящее имя Цицерона-Пьера не интересовало.

Лишь некоторые из этих бесконечных вопросов были логичны и вполне оправданы, и именно на них я старался давать наиболее точные ответы. В Берлине это принимали как должное и продолжали осаждать меня новыми вопросами. Ведь я не мог даже связаться с Цицероном, чтобы выяснить их, и должен был ждать, пока он снова позвонит мне, а это зависело от его успехов.

Из Берлина меня упрекали, что я не сумел придумать другого способа связи с Цицероном. Предположим, он никогда больше не явится к вам. Что вы тогда намерены делать? – спрашивали меня. В таком случае операция «Цицерон» будет окончена, отвечал я. Но было совершенно очевидно, что пока Цицерон в состоянии выжимать из нас деньги и пока он имеет доступ к английским

секретным документам, он будет работать на нас.

Однако, если по каким-нибудь причинам камердинер английского посла не сможет больше доставать эти материалы, то неоценимый источник информации иссякнет, и тогда никакие мои усилия, никакое богатство Третьего Рейха не исправят положения. Все это было вполне логично. Я был убежден, что не совершил пока никаких ошибок. Но в Берлине на это смотрели иначе.

Особый интерес к операции «Цицерон» проявлял Кальтенбруннер, недавно назначенный начальником главного имперского управления общественной безопасности, составлявшего ту часть германской секретной службы, которая не контролировалась министерством иностранных дел. Из его обширного аппарата к нам ежедневно поступали различные запросы. Теперь операцией «Цицерон» занималось, пожалуй, не меньше дюжины различных учреждений. Без всякой нужды в это дело были посвящены десятки болтливых людей.

Однажды, когда я был особенно занят, ко мне поступил ещё один запрос из Берлина, в котором мне ставили в вину, что я всё ещё не выяснил настоящего имени Цицерона, его возраста и места рождения. В порыве раздражения я ответил:

> «Не в состоянии пока что установить настоящее имя. Мог бы правильно установить личность и т. п., лишь обратившись непосредственно в английское посольство. Если такие действия желательны, пожалуйста, вышлите письменные указания».

После этого я уже больше не получал запросов о настоящем имени Цицерона.

В те дни я был занят не только Цицероном. В первых числах ноября произошло событие, которое даже теперь кажется мне довольно значительным. Нам сообщили, что в Анкару прибывает дипломат, следовавший из России через Вашингтон и Стокгольм – довольно странный окольный путь. Ходили слухи, что ему дано указание прощупать возможность достижения взаимопонимания между русскими и немцами. Мне приказали найти какой-нибудь приемлемый способ установить с ним контакт, как только он прибудет в Анкару.

Конечно, это было самое щекотливое поручение, какое только можно было дать в то время германскому дипломату в Турции. Несомненно, даже простой слух об установлении взаимопонимания между русскими и немцами имел бы последствия, которые совершенно невозможно было предугадать.

Но таинственный русский так никогда и не прибыл в Анкару.

Быть может, его приезд вовсе и не предполагался – трудно сказать. Тогда ходило много подобных «уток». Одно лишь не вызывает сомнений: когда Сталин настаивал на открытии второго фронта, а Черчилль старался доказать ему, что пока это невозможно, отношения между западными и восточными союзниками были более чем прохладными. Все это было известно нам – конечно, благодаря Цицерону.

Что касается порученного мне специального задания – установить связь с загадочным русским дипломатом, то меня больше всего поразило условие, которое было поставлено при этом: прежде чем предпринимать какие-либо шаги в этом направлении, я должен был выяснить, не является ли русский эмиссар евреем.

Это кажется фантастическим даже теперь. Несомненно, немалый интерес с исторической точки зрения представляет тот факт, что подобное соображение при определённых обстоятельствах могло иметь и иногда, вероятно, имело решающее влияние на судьбу Европы.

4 ноября из Берлина прибыл специальный курьер. Получив от меня расписку, он протянул мне небольшой чемодан. Я открыл его и увидел, что он доверху набит английскими кредитными билетами на сумму в двести тысяч фунтов стерлингов. На всех пачках было написано: «Для Цицерона».

На следующий день, 5 ноября, случилось так, что меня не было в кабинете, когда позвонили по телефону. Ответила Шнюрхен. Позже она передала мне, что некий господин, назвавшийся Пьером, приглашает меня играть в бридж в девять часов вечера 6 ноября.

«Значит, сегодня вечером», – подумал я, помня разницу в двадцать четыре часа, о которой мы условились.

После обеда я выкатил из гаража громоздкий «Опель», стал заводить мотор, но обнаружил, что не в порядке карбюратор. Я лихорадочно принялся за ремонт. Работа была сложная, и я боялся опоздать на условленное свидание. Вдруг Цицерон больше никогда не позвонит?

Я измучился, но вот, наконец, за несколько минут до девяти часов мотор заработал. С измазанным лицом и руками я сел за руль и на предельной скорости повел машину. На сиденье рядом со мной лежал пакет с тридцатью тысячами фунтов стерлингов, которые я должен был передать Цицерону за последние две фотопленки.

Опаздывая на несколько минут, я свернул в темную улицу, где мы должны были встретиться.

Впереди, метрах в ста от машины, вдруг кто-то дважды подал

сигнал электрическим фонариком. Это мог быть только Цицерон. Подача этих совершенно ненужных сигналов показалась мне безрассудной, но Цицерон, как видно, любил разыгрывать детские спектакли. Вообще от него можно было ожидать все, что угодно.

Теперь я ехал очень медленно. Открывая заднюю дверь, я разглядел его при свете затемненных фар. Ловко, как кошка, Цицерон вскочил в медленно двигавшуюся машину. Я видел его в переднее зеркало.

– Поезжайте по направлению к новой части города. Я скоро сойду.

Еще не освоившись как следует с машиной, я слишком сильно нажал на педаль, и мощная машина рванулась вперед. Я ехал по улицам и переулкам, которых никогда раньше не видел. Оглянувшись назад, я убедился, что за нами никто не гонится. Цицерон давал мне указания:

– Теперь налево… прямо… направо.

Я точно выполнял его указания. Затем услышал его голос:

– Достали вы тридцать тысяч фунтов стерлингов?

– Да!

– Я принес вам ещё одну пленку. Вы будете довольны ею.

Он передал мне завернутую в газету катушку. Я спрятал её в карман и через плечо передал ему пакет с деньгами. В зеркало я заметил, как, держа деньги, он на мгновение заколебался, раздумывая, вероятно, считать их или нет. Наконец, он просто засунул их под пальто. Судя по выражению его лица, он торжествовал.

Теперь я повернул на Улусмайдан – главную площадь Анкары. В то время улицы Анкары освещались очень неравномерно. Старые кварталы на окраинах столицы были погружены во мрак, а главные улицы нового города сверкали огнями, как Пикадилли или Фридрихштрассе в мирное время.

На Улусмайдан внутрь машины ворвался яркий свет уличных фонарей. Цицерон, забившись в угол заднего сиденья, поднял воротник пальто и надвинул свою широкополую шляпу на самые глаза. Оказывается, увлекшись починкой карбюратора, я забыл задернуть боковые занавески.

– Ради бога, выезжайте поскорее отсюда, – нервно прошептал Цицерон.

Прибавив скорость, я проехал около ста метров и свернул в темный переулок. За спиной я услышал вздох облегчения. Два раза мы медленно объехали вокруг большого квартала. Мне хотелось вовлечь Цицерона в разговор.

– Я должен задать вам несколько вопросов. Берлин хочет знать ваше имя и национальность.

Воцарилось минутное молчание. Машина продолжала бесшумно скользить по темной узкой улице.

– Ни вас, ни их это не касается. Своего имени я вам не открою, а если вам действительно нужно его знать – узнавайте сами, но смотрите, не попадитесь при этом. Вы можете сообщить Берлину только то, что я не турок, а албанец.

– Однажды вы сказали мне, что ненавидите англичан. Не можете ли вы сказать – за что? Они плохо обращаются с вами? Или есть какая-нибудь другая причина?

Он долго не отвечал. Я ещё раз объехал квартал. Должно быть, этот вопрос расстроил его, и когда он, наконец, ответил, голос его звучал напряженно:

– Моего отца застрелил англичанин.

В темноте я не мог видеть выражения его лица. Но даже теперь, через много лет, я всё ещё слышу, как он это сказал. Помню, я был глубоко тронут. Быть может, им руководило более благородное чувство, чем простая жадность к деньгам? Впервые я почувствовал к этому человеку мимолетную симпатию.

Больше я не задавал ему вопросов. Казалось, и он не был расположен к разговорам. Погруженный в свои мысли, я нечаянно повернул обратно, на главную улицу Анкары. Веселая и шумная днем, но почти безлюдная ночью, она и теперь была залита ярким светом фонарей.

Цицерон холодно проговорил:

– Поверните сначала направо, затем налево.

Я сделал, как он указал, и вдруг почувствовал на своем плече его руку.

– Замедлите ход, пожалуйста… До свиданья!

Я услышал, как тихо щелкнула дверца, и поехал обратно в посольство.

К двум часам ночи я закончил свою работу. На этот раз получилось всего 20 фотоснимков совершенно секретных английских документов. Некоторым из них предстояло через несколько часов сильно удивить германского посла.

Я вернулся домой и проспал до десяти часов.

Когда я вошел в кабинет фон Папена (это было в двенадцатом часу) и протянул ему фотоснимки вместе с докладом о встрече с Цицероном прошлой ночью, он дал мне прочитать полученное из Берлина распоряжение. Оно было подписано заместителем министра иностранных дел фон Штеенграхтом. Меня вызывали в Берлин для встречи с ним. Я должен был привезти с собой весь материал, который доставил нам Цицерон, – как пленки, так и отпечатанные снимки. Для меня было оставлено место на самолете, который вылетал из Стамбула утром 8 ноября.

Итак, завтра, 7 ноября, я должен был выехать из Анкары вечерним поездом.

Уже темнело, когда я сел в стамбульский экспресс. Правила германской дипломатической службы требуют, чтобы дипломат, везущий с собой официальные документы, занимал отдельное купе в спальном вагоне первого класса, но я не смог его получить. Дорога была так загружена, что обычно билеты в спальные вагоны первого класса продавались за много дней вперед. Поэтому мне пришлось взять билет в вагон второго класса, а это означало, что в моем купе должен был ехать кто-то ещё.

Моим попутчиком оказался мужчина лет сорока. Когда я вошел в свое купе, он уже сидел там. Я вежливо поклонился, он сделал то же самое. Во время войны в Анкаре было не принято вступать в разговоры с незнакомыми людьми при случайных встречах – в конце концов, ваш собеседник мог оказаться врагом. Если уж люди оказывались в такой обстановке, то лучше было молчать.

Мы сидели каждый в своем углу. Я читал, а он смотрел в окно на обширную плоскую равнину, погружавшуюся в темноту. Затем я пошел в вагон-ресторан, крепко держа драгоценный черный портфель, а когда вернулся, мой спутник разговаривал с проводником вагона. Я услышал английскую речь.

Перспектива ехать в одном купе с англичанином меня не очень устраивала, тем более, что при мне были документы особой важности. Надеясь найти какого-нибудь знакомого и уговорить его поменяться со мной местами, я прошел по всему поезду, но никого не встретил.

Ночь я провел дурно, не решаясь заснуть. Моя нервозность, очевидно, передалась и моему спутнику, который, вероятно, был английским офицером или чиновником. Примерно в половине третьего он включил свет и попытался увидеть в зеркале, висевшем над умывальником, сплю я или нет. Я понял, что и его беспокоило мое присутствие, – может быть, он тоже вез секретные документы.

Когда поезд был уже недалеко от Стамбула, он встал с постели и начал умываться. Вдруг он потихоньку выругался по-английски. Я посмотрел вниз и понял, что он забыл свой бритвенный прибор. С минуту я колебался. По-видимому, он англичанин, но, в конце концов, я не могу утверждать этого определенно. И я протянул ему небольшой кожаный несессер, в котором хранились мои бритвенные принадлежности.

– Возьмите!

Он посмотрел мне прямо в глаза. Потом рассмеялся, и у него оказался очень приятный смех. Помню, я заметил, что у моего

спутника прекрасные зубы.

– Спасибо! Это очень мило с вашей стороны.

Итак, между нами, быть может, врагами, установился некоторый контакт. Я подумал, что, наверное, поступаю неправильно, но ведь Германия не проиграет войну, если я одолжу кому-то свою бритву.

Сходя с поезда в Хайдарпаше, он просто сказал:

– Счастливого пути!

Очевидно, он не сказал бы мне этого, если бы знал, что у меня в портфеле.

Приехав в Стамбул, я отправился прямо в аэропорт. «Юнкерс-52» – самый надежный из всех самолетов – был готов к вылету. Меня, оказывается, ждали.

Вскоре мы уже летели над Мраморным морем, необыкновенно голубым в это раннее солнечное утро. Стамбул лежал под нами во всей своей восхитительной красоте. Обычно я не переставал восхищаться этим видом, но на этот раз скоро заснул – бессонная ночь давала себя знать.

В Софии, когда наш самолет заправляли горючим, по аэродромной радиосети меня вызвали в справочное бюро. Там высокий молодой человек в серой военной шинели потребовал у меня паспорт.

– Я получил указание от генерала войск СС Кальтенбруннера сообщить вам, что специальный самолет доставит вас прямо в Берлин. Пожалуйста, дайте мне ваш билет. Я позабочусь о багаже.

Меня удивило, почему вдруг возникла такая крайняя необходимость срочно видеть документы, доставленные Цицероном. Едва ли целесообразно высылать из Берлина специальный самолет, чтобы доставить меня туда на несколько часов раньше. Впрочем, это могло быть просто мерой предосторожности.

Так или иначе, теперь я уже не был больше в спокойной, мирной обстановке Анкары, а снова очутился в атмосфере вермахта. Насколько она была неприятной и напряженной, показали несколько последующих дней.

# Глава пятая

Несколько часов спустя я вышел из самолета на берлинском аэродроме. Дул ледяной ветер, земля была покрыта тонким слоем снега. Как это непохоже на Анкару с её ярким солнцем и голубым небом!

Около аэропорта меня ждал автомобиль. Прежде чем я сел в него, мне сказали, что Кальтенбруннер желает видеть документы, полученные от Цицерона, до того, как я отдам их Риббентропу. Теперь мне стало ясно, почему за мной был выслан в Софию специальный самолет.

Однако я всё ещё не мог понять, что скрывается за всем этим. Со временем я узнал, что так началась личная распря между Кальтенбруннером и Риббентропом. Она принимала все более ожесточенный характер. Я же оказался просто карликом, зажатым в тиски между двумя борющимися гигантами.

Через некоторое время я уже входил в величественное здание на Вильгельмштрассе, 101. Часовые, бесконечные коридоры, опять часовые на лестницах, затем приемная, в которой снуют секретари. Наконец, дверь отворилась, и из кабинета вышли двое мужчин, одетых в гестаповскую форму.

– Вы принесли документы? – быстро спросил меня один из них.

– Да.

– Пожалуйста, пройдите сюда!

Я вошел в очень большую комнату, посредине которой стоял огромный письменный стол. За ним сидел Кальтенбруннер. Лицо его покрывали многочисленные шрамы – следы дуэлей. Низкий, громкий голос начальника секретной службы вполне соответствовал его громадной, мощной фигуре.

Не теряя времени, он сразу приступил к делу. Документы, выкраденные из английского посольства в Анкаре, были тотчас же разложены на его письменном столе. Кроме Кальтенбруннера и меня, в комнате находилось ещё четыре человека. Меня не познакомили с ними.

– Эти документы, – сказал Кальтенбруннер, – могут иметь громадное значение, если они подлинные. Господа, находящиеся здесь, – эксперты, они определят, подлинные ли это документы. Что касается вас, – он повернулся ко мне, – то вы должны рассказать нам все, что знаете об операции «Цицерон». Мы составили целый список вопросов. Перед тем как отвечать, тщательно обдумайте каждый из них, а затем уже давайте как можно более полные ответы. Очень вероятно, что все это только

хитрая ловушка. Поэтому каждая, даже самая мелкая деталь операции может оказаться решающей для проверки этого предположения.

Один из экспертов включил магнитофон, стоявший на отдельном столике, – каждое слово, которое я произнесу во время беседы, будет записано. Затем четыре специалиста начали задавать вопросы. Приблизительно через час я попросил дать мне немного передохнуть. Потом они снова стали задавать вопросы, и так продолжалось ещё часа полтора.

Тем временем фотопленки были отправлены в лабораторию, и вскоре результаты тщательно выполненного исследования принесли Кальтенбруннеру.

Чтобы добиться наилучшей резкости, печатали снимки при помощи сильно задиафрагмированного объектива большой светосилы с расстояния около 130 сантиметров. Для освещения были использованы портативные фотолампы с рефлекторами. Исследование пленок показало, что четыре из них американского, а одна германского происхождения. Все они были немного недодержаны, но это не отразилось на четкости изображения. Каждый кадр имел отличную резкость. Фотографировал, по всей вероятности, опытный специалист, но в большой спешке. Принимая во внимание все, что я говорил раньше, казалось маловероятным, хотя и не невозможным, что эти снимки сделаны одним человеком без посторонней помощи.

Именно это больше всего и беспокоило Кальтенбруннера и давало ему некоторое основание видеть тут ловушку со стороны англичан. Но когда начальник секретной службы брал тот или иной документ и ещё раз убеждался в важности его содержания, он, как и я, переставал сомневаться в его подлинности.

Исчерпав, наконец, список своих вопросов, эксперты ушли, и я остался один на один с Кальтенбруннером.

– Садитесь, – пригласил он.

Атмосфера стала менее официальной, Теперь я уже не был человеком, которого лично допрашивал всемогущий начальник секретной службы. Когда Кальтенбруннер своим громким голосом возобновил беседу, мы оба сидели в удобных креслах, и я чувствовал себя гораздо лучше.

– Я послал за вами специальный самолет в Софию потому, что хотел видеть вас раньше, чем вы побываете у Риббентропа. Не знаю, догадываетесь ли вы, что Риббентроп не принадлежит к числу ваших друзей. Он не может питать к вам симпатий хотя бы потому, что вы ближайший сотрудник фон Папена, а о том, как Риббентроп ненавидит фон Папена, кажется, нет необходимости рассказывать вам. Министр иностранных дел постарается

использовать операцию «Цицерон» лишь в своих целях. Я не собираюсь позволить ему это. Операцией «Цицерон» будет заниматься только моя служба. Что касается использования этих материалов как с политической, так и с военной точки зрения, то мы должны ещё повременить. Все будет зависеть от того, как развернется операция в будущем. Риббентроп до сих пор твердо убежден, что камердинер подослан англичанами. Я хорошо знаю Риббентропа – он будет стоять на своем из простого упрямства. Во всяком случае, пройдет немало времени, прежде чем он изменит свое мнение, а ценнейшие разведывательные данные будут лежать в его столе, не принося никакой пользы. Этого нельзя допустить, и я добьюсь у самого фюрера, чтобы операцией «Цицерон» занималась только секретная служба. Поэтому в будущем вы должны выполнять мои указания, и только мои. Вы не должны больше принимать деньги для уплаты Цицерону от министерства иностранных дел. Кстати, те двести тысяч фунтов стерлингов, которые вы получили на днях, послал я. Надеюсь, они благополучно прибыли?

Я ответил утвердительно. Затем я совершенно ясно дал понять, что мне надо точно знать, чьи приказания я должен выполнять и чьи не должен. Иначе неразбериха, которая непременно возникнет из-за этой неясности, может поставить под угрозу все дело.

– Операция «Цицерон» доставляет мне массу хлопот особенно потому, – добавил я, – что для сохранения тайны мне самому приходится выполнять всю канцелярскую работу. Вообще все это требует огромного напряжения сил. Если вы хотите, чтобы я продолжал работу, постарайтесь, пожалуйста, избавить меня от бесконечного потока запросов и инструкций, исходящих от различных ведомств. Я просто не в состоянии справиться со всей этой писаниной.

Кальтенбруннер обещал мне, что этого больше не будет, что он добьется от фюрера решения вопроса о том, кто должен заниматься проведением этой операции.

Потом он снова начал задавать мне вопросы о личности Цицерона.

– Вы знаете этого человека, – сказал он. – Верите ли вы, что он нас не обманывает?

Я пожал плечами. Кальтенбруннер продолжал говорить, но, казалось, скорее с собою, чем со мной.

– Понятно, он рискует своей жизнью, если, конечно, не работает на англичан. С другой стороны, содержание переданных им документов говорит против того, что он подослан англичанами. Я очень внимательно читал все ваши сообщения.

Рассказ о Цицероне звучит правдоподобно, даже слишком правдоподобно, на мой взгляд. Я не могу не чувствовать подозрения к этому человеку. В моем положении это естественно. Расскажите мне ещё раз, какое впечатление он на вас произвел. Я хотел бы иметь более ясное представление о его личности.

– Мне кажется, он авантюрист. Цицерон тщеславен, честолюбив и достаточно умен, что и позволило ему подняться над своим классом. Вместе с тем, он не смог проникнуть и в привилегированный класс, который он ненавидит, но перед которым преклоняется. Быть может, Цицерон сам осознает противоречивость своих чувств. Люди, потерявшие связь со своим классом, всегда опасны. Таково мое мнение о Цицероне.

– Допустим, что все это так, – сказал Кальтенбруннер, – но разве не может он работать на англичан?

– Возможно. Но у меня на этот счет есть предубеждение. Я нисколько не сомневаюсь, что если даже Цицерон работает на англичан, то в один прекрасный день он выдаст себя. До сих пор я не заметил ни малейших признаков этого. Я уверен, что он тот, за кого себя выдает. Особенно убедили меня случайно вырвавшиеся у него слова о том, что его отец был застрелен англичанином.

– Что?! Отец Цицерона был застрелен англичанином? Почему же вы раньше не сказали об этом? Ведь такой факт может стать ключом к решению всего дела!

– Но я уже сообщил об этом в своем последнем донесении, которое было отправлено дипломатической почтой в министерство иностранных дел.

Кальтенбруннер бросил на меня злой пронзительный взгляд. Каждый мускул его лица, покрытого многочисленными шрамами, был напряжен. В этот момент я не хотел бы быть его противником.

– Когда ваше донесение было отправлено из Анкары? – почти прокричал он.

– Позавчера.

– Значит, Риббентроп намеренно скрыл его от меня, – процедил он сквозь зубы и резким жестом бросил в пепельницу недокуренную сигарету. Зловещие огоньки появились в его глазах, и я подумал, что он с наслаждением задушил бы Риббентропа собственными руками. Он вскочил, и мне пришлось встать. Я был поражен и испуган этой внезапной потерей самообладания. Мне показалось, что гнев Кальтенбруннера направлен отчасти и на меня.

– Так что же вы знаете о смерти отца Цицерона?

– Когда я последний раз видел Цицерона (это было 5 ноября), я спросил его, почему он ненавидит англичан. Он не ожидал

подобного вопроса, и ответ его прозвучал вполне искренне. Он сказал: «Мой отец был застрелен англичанином».

– Но ведь это очень важно, так как представляет Цицерона в совершенно ином свете. А Риббентроп скрыл от меня такую новость!

Он ударил кулаком по столу. Затем, немного успокоившись, снова повернулся ко мне.

– Вы не спросили Цицерона о подробностях смерти его отца?

– Нет. Я был поражен его неожиданным ответом и решил пока не спешить с расспросами. Если Цицерон говорил правду, мое молчание должно было показаться ему выражением сочувствия. Всякое же проявление любопытства в тот момент могло бы заставить его насторожиться.

– Постарайтесь разузнать все подробности о смерти его отца. Не упустите из виду ни одной детали. Что касается меня, то я, конечно, спрошу господина Риббентропа, почему он утаил от меня ваше последнее донесение.

Кальтенбруннер подошел к окну и своими сильными пальцами начал барабанить по стеклу. Самообладание, наконец, целиком вернулось к нему.

– Кстати, вам небезынтересно будет узнать, что перед вашим приездом я разговаривал с одним нашим дипломатом, который хорошо знает сэра Хью Нэтчбулла-Хьюгессена. Перед войной они оба были в Китае. Он охарактеризовал Нэтчбулла как прекрасного дипломата и исключительно обаятельного человека. Он рассказал также, что сэра Нэтчбулла очень ценят в министерстве иностранных дел Великобритании и считают там одним из лучших специалистов по Среднему и Дальнему Востоку. Если англичане послали в Анкару такого опытного дипломата, значит, они отводят Турции важную роль. Вы должны рассказать об этом фон Папену и предупредить его, чтобы он был настороже. Представляю себе, сколько заплатили бы англичане за возможность взглянуть на содержимое сейфа германского посла.

Я не стал объяснять Кальтенбруннеру, что в Анкаре каждый прекрасно понимает, какой важный пост занимает сэр Хью, но поблагодарил его и обещал все это передать фон Папену. Кальтенбруннер снова подошел к своему столу, взял пачку фотографий и вместе с фотопленками передал мне. Я взял их и сразу же начал пересчитывать, боясь, как бы у меня снова не пропал снимок.

Кальтенбруннер посмотрел на меня со злобной усмешкой. Очевидно, ему показалось странным, как я осмелился подумать, что один из моих драгоценных документов мог затеряться – и где? – в этой комнате! Тем не менее он не сказал ни слова, пока я

не кончил считать.

– Когда Риббентроп пошлет за вами, скажите ему, что вы уже были у меня. Что касается ваших будущих сообщений об операции «Цицерон», то вы получите мои личные указания по этому поводу, как только вернетесь в Анкару. Кстати, когда вы уезжаете?

– Не имею представления. Очевидно, это будет зависеть от министра иностранных дел – ведь именно он вызвал меня в Берлин.

Уходя от Кальтенбруннера, я попросил его позвонить Риббентропу и узнать, когда он желает видеть меня. Если Кальтенбруннер при этом сам скажет министру иностранных дел, что сначала я посетил его, у меня, вероятно, будет гораздо меньше неприятностей. Он исполнил мою просьбу. Мне было сказано, что Риббентроп ждет меня завтра в семь часов вечера.

Итак, в моем распоряжении оставалось много времени. Портфель с секретными фотодокументами я оставил у Кальтенбруннера, который запер его в своем письменном столе. Я решил, что там снимки будут в большей безопасности, чем у меня в номере.

– Я надеюсь, ваше превосходительство, что у вас нет камердинера, – рискнул я немного пошутить.

Но Кальтенбруннер был лишен чувства юмора. Он нахмурился и, бросив на меня пронизывающий взгляд, холодно проговорил:

– Ваши документы будут здесь в полной безопасности.

Он проводил меня до двери.

– Желаю вам удачи. Вам следует пожелать удачи. Помните: доставляемые вами сведения могут иметь огромное значение для будущего Германии.

Я бы не сказал, что был в отличном настроении, выходя, наконец, из мрачного здания имперской разведки.

На следующее утро мне сообщили по телефону, что портфель мне принесут в гостиницу без четверти семь вечера.

В назначенное время я дожидался посыльного с документами в зале отеля «Кайзерхоф». Однако принес их не посыльный, а два очень солидных господина.

– Нас прислал генерал войск СС Кальтенбруннер. Мы должны проводить вас к министру иностранных дел и присутствовать при вашем свидании с ним.

Ровно без одной минуты семь я в сопровождении двух ищеек Кальтенбруннера входил в министерство иностранных дел на Вильгельмштрассе. В небольшом кабинете нас ожидали заместитель министра иностранных дел фон Штеенграхт и

господин фон Альтенбург.

– Вы принесли с собой документы Цицерона? – спросил господин фон Штеенграхт.

– Они здесь, – ответил я, указывая на свой объемистый портфель.

– Разрешите мне, пожалуйста, взглянуть на них.

Сто двенадцать совершенно секретных английских документов перешли к новому хозяину. Просматривая снимки один за другим, Штеенграхт затем передавал их Альтенбургу. При этом оба они качали головами, говоря вполголоса, как в свое время фон Папен:

– Невероятно… невозможно!..

Затем они объявили мне, что, по мнению министра иностранных дел, Цицерона нам подсунули англичане.

– На первый взгляд, – сказал фон Штеенграхт, снова перебирая фотографии, – документы кажутся подлинными. Взгляните-ка на этот!

Он протянул мне снимок документа с подробными сведениями о конференции в Касабланке. Документ принадлежал к числу тех, которые были доставлены Цицероном в последний раз.

– Подлинность этого сообщения, – продолжал фон Штеенграхт, – мы можем подтвердить, так как у нас есть полные сведения о конференции. Откровенно говоря, я не могу поверить, чтобы англичане дали нам в руки такие важные материалы просто как приманку. Этот документ кажется мне самым настоящим. Он не дает оснований сомневаться, что ваш камердинер действительно имеет доступ к сейфу своего посла. Но лишь небу известно, как это ему удаётся. Должно быть, это удивительный человек.

– Конечно, он не обычный камердинер, – сказал я, – и незаурядный человек. Он знает, чего хочет, полон решимости и, судя по тому, что я уже знаю о нем, кажется исключительно умным и осторожным.

– Итак, вы верите в него? – спросил фон Альтенбург. – Я хочу сказать, вы полностью исключаете возможность того, что его подсунули нам англичане?

– Да! Но я не могу этого доказать. Во всяком случае, теперь.

Фон Штеенграхт медленно положил снимки обратно в папку.

– Вы больше ничего не можете сказать нам?

Я отрицательно покачал головой. Фон Штеенграхт и фон Альтенбург встали.

Первый, бросив быстрый взгляд в сторону моих спутников, сказал:

– Министр иностранных дел очень сожалеет, что не сможет принять вас сегодня. Документы и фотопленки останутся здесь. Вы должны быть готовы явиться к министру по первому его требованию. Я полагаю, мы сможем застать вас в отеле «Кайзерхоф» в любое время?

Беседа была закончена. Теперь стало совершенно ясно, почему меня не принял сам Риббентроп.

По затемненной Вильгельмштрассе я вместе с моими двумя спутниками вернулся в расположенный неподалеку отель «Кайзерхоф». Там я остался, наконец, наедине со своими мыслями.

Два дня спустя я получил приказание срочно явиться на Беренштрассе, 16, к советнику Ликусу. Там находилось одно из зданий министерства иностранных дел.

Когда я пришел туда, мне объявили, что меня немедленно хочет видеть министр. По пути с Беренштрассе до министерства Ликус дал мне несколько советов. Риббентроп, сказал он, в плохом настроении и очень недоволен поведением Кальтенбруннера. Что касается секретных документов, то министр иностранных дел уже просмотрел их. Он всё ещё убежден, что это ловушка.

– За последнее время, – продолжал Ликус, – министр стал относиться ко всему с ещё большим подозрением, и это доставляет нам массу неприятностей. Мне кажется, было бы разумно по возможности не противоречить ему.

В заключение дружески настроенный ко мне старый Ликус предупредил, что министр всё ещё помнит случай со Спеллманом и никогда мне его не простит.

Этот случай произошел два года назад.

Незадолго до того, как Соединенные Штаты вступили в войну, президент Рузвельт послал архиепископа Спеллмана со специальным заданием в союзные и нейтральные страны. Конечно, архиепископ был в то время не просто высшим духовным лицом католической церкви США – он пользовался личным доверием президента. Поручение, данное ему, очевидно, государственным департаментом, имело чрезвычайно важное политическое значение.

В то время ещё можно было добиться заключения мира путем переговоров. Так думали по крайней мере мы, работники посольства в Анкаре, хотя фон Папен хорошо знал, что союзники никогда не пойдут на переговоры с Гитлером и что в самом Третьем Рейхе должны были бы произойти коренные изменения, прежде чем это могло бы оказаться возможным. Фон Папен, конечно, понимал, что эти изменения означали бы конец Третьего

Рейха и начало новой Германии, готовой добровольно отказаться от территорий, приобретенных нечестным путем. Фон Папен прекрасно отдавал себе отчет и в том, что единственное, что можно было сделать в тот момент, действуя очень осторожно, – это установить неофициальную связь с союзниками.

Визит Спеллмана в Анкару представлял прекрасную возможность для установления такой связи. Фон Папен, сам убежденный католик, знал архиепископа лично. Но при сложившихся обстоятельствах германскому послу встречаться с представителем Рузвельта было совершенно невозможно. Случилось так, что в это время в Турции находился один немец-католик, знаменитый юрист и ученый, который был достаточно важным лицом, чтобы вести эти неофициальные переговоры.

Поскольку посол не мог участвовать в таком деликатном деле, то мне пришлось предпринять необходимые шаги, чтобы устроить тайную встречу между архиепископом и юристом.

Возможно, это был случай ускорить окончание войны и таким образом избавить человечество от излишнего кровопролития и страданий. Но Риббентроп каким-то образом узнал о подготовке переговоров и положил всему конец с той беспощадностью, с какой умел поступать только он. Встреча так и не состоялась.

А я долго мучился неизвестностью: отзовут ли меня в Германию, чтобы предать суду за государственную измену и, может быть, даже расстрелять, или все обойдется благополучно.

Вот эти неприятные воспоминания и охватили меня теперь, когда я сидел в автомобиле и слушал предостережения Ликуса.

«Итак, он не забыл, – размышлял я. – Если вдобавок он захочет выместить на мне свою ненависть к Кальтенбруннеру, встреча едва ли окажется приятной».

Пока мы по бесконечным коридорам шли к приемной Риббентропа, Ликус дал мне ещё один совет:

– Ради бога, постарайтесь не упоминать имени фон Папена. Риббентроп ненавидит его. Я часто видел, как он совершенно терял самообладание, если кто-нибудь хорошо отзывался о фон Папене.

После такой подготовки меня ввели в кабинет Риббентропа. Со мной вошел и Ликус, – как оказалось, один из немногих, пользовавшихся в то время доверием министра иностранных дел. Они были старыми друзьями, если только можно употребить такие слова по отношению к Риббентропу. Во всяком случае, они вместе учились в школе.

Я не видел Риббентропа уже несколько лет, и он показался мне сильно постаревшим. Когда мы вошли, он встал, но не вышел из-за стола и, по-наполеоновски скрестив руки, уставил на меня

свои холодные голубые глаза. Перед нами был человек, который отвечал за внешнюю политику Германии и, как говорят, однажды сказал: «В истории я буду признан выше Бисмарка».

Вначале воцарилась гнетущая тишина. Наконец, Ликус произнес несколько приятных слов, принятых в таких случаях, и мы сели вокруг стола, на котором были разложены доставленные Цицероном документы.

Риббентроп небрежно взял несколько фотографий и стал перетасовывать их, словно колоду карт. Затем он обратился ко мне:

– Итак, вы встречаетесь с этим Цицероном. Что он за человек?

Я повторил то, что от частого повторения знал уже почти наизусть, стараясь изложить самое существенное и притом как можно короче. Но Риббентроп прервал меня недружелюбным тоном:

– Совершенно ясно, что этому человеку нужны деньги. Я хочу знать, являются ли документы подлинными. Что вы думаете по этому поводу?

– Ничего нового к тому, что я уже сказал, я не могу добавить, господин министр. Я лично считаю…

– Мне нужны факты, – прервал министр. – Меня не интересует ваше личное мнение – оно едва ли может рассеять мои сомнения. Что думает по этому поводу Йенке?

– Он, как и я, считает, что документы настоящие и что этот человек явился к нам по собственной инициативе. Господин фон Папен придерживается такого же мнения.

Не успел я проговорить эти слова, как сразу понял, что совершил ошибку. Когда я упомянул имя посла, выражение лица Риббентропа стало ещё холоднее и надменнее, губы его сжались в тонкую полоску. Ликус, стоявший позади своего патрона, с укором посмотрел на меня.

Риббентроп снова заговорил, очень медленно, отрывистыми фразами.

– Я спрашиваю вас, являются ли эти документы настоящими. Если бы вы смогли убедить меня в этом, то я, может быть, простил бы вам проступок, который вы совершили однажды. Если я буду уверен, что предполагаемые разногласия между Лондоном, Вашингтоном и Москвой действительно существуют, то мне будет ясно, что предпринять. Вот что важно. Но мне нужны факты, молодой человек, факты, а не личное мнение – ваше или чье-либо ещё. Чувствуете ли вы способным справиться с этим заданием? Или лучше послать в Анкару кого-нибудь другого?

Меня так и подмывало ответить: «Обязательно пошлите кого-нибудь другого, господин министр. Я устал до смерти, проводя за

работой бессонные ночи. И за все это со мной обращаются как с мальчишкой!»

Но я промолчал. Долго ли ещё мне смотреть на неприятное лицо министра и слушать его резкий голос? Как бы я хотел, чтобы он встал и объявил об окончании беседы.

Гнетущее молчание снова нарушил Ликус.

– Мойзишу нелегко получить доказательство подлинности документов и благонамеренности, если только я могу так выразиться, человека, о котором идет речь. Если Цицерон работает один, то логично предположить, что документы настоящие. Если же у него есть помощник, то это дает некоторое основание предполагать, что все это обман, хотя даже такое предположение едва ли можно считать доказательством. Я хотел бы внести предложение. – Здесь Ликус повернулся ко мне. – Быть может, вам и следует направить все усилия на то, чтобы точно выяснить, есть ли у Цицерона помощник?

– Прекрасное предложение, Ликус, – сказал шеф. – Мы принимаем его. – Затем, повернувшись ко мне, но не смотря мне в лицо, Риббентроп продолжал: – Любой ценой узнайте, помогает ли кто-нибудь Цицерону. Что вы сделали до сих пор в этом направлении?

– Ничего, господин министр, за исключением того, что я прямо спросил об этом Цицерона. Ведь я целиком завишу от его ответов. Если он обманывает нас, то все равно со временем он так или иначе выдаст себя.

Риббентроп всё ещё не удостаивал меня своим взглядом. Он продолжал нервно вертеть в руках документы. Неуверенность и досада ясно отражались на его лице, когда он смотрел на кучку фотографий, которые обошлись Германии в шестьдесят пять тысяч фунтов стерлингов. Вдруг он схватил всю пачку, швырнул её на конец своего огромного письменного стола и едва слышно проговорил:

– Не может быть!

Затем он поднялся.

– Пока вы должны оставаться в Берлине. Возможно, вы ещё понадобитесь мне.

– Но, господин министр… Цицерон ждет меня в Анкаре… Может быть, он достал новые документы…

– Пока вы должны оставаться в Берлине.

Он холодно кивнул мне. Нужно было уходить.

Итак, я оказался не у дел. В Берлине это случалось нередко. Чиновнику, который по той или иной причине попадал в немилость, предоставлялось бить баклуши до тех пор, пока солнце начальственного расположения вновь не пригреет его. О

причине при таких обстоятельствах лучше было и не спрашивать. В данном случае дело было в том, что два очень влиятельных человека ссорились между собой, а я имел несчастье очутиться между ними.

В это время страна все ближе подходила к катастрофе: каждый день на поле боя умирали тысячи людей, которые никогда не хотели войны; каждую ночь все новые города превращались в руины. А в Анкаре меня, наверное, ждет Цицерон, чтобы передать Третьему Рейху сведения, которые – кто знает? – могли бы дать стране последний шанс на спасение. Ну что ж, пусть он ждет, пока два высокопоставленных чиновника в Берлине продолжают свою мелкую ссору…

Лично я вовсе не жаждал снова видеть Цицерона, вновь заниматься всеми этими делами и подвергаться связанным с ними опасностям. Но это был мой долг. Если бы я родился в Лондоне, Париже или Москве, мои чувства, несомненно, не были бы такими противоречивыми и мне легче было бы выполнить свой долг. Занимая небольшой пост, я мог только помочь нащупать выход из тупика, в который нас завели. Позже появились другие, вроде Штауффенберга, Канариса, Мольтке и их друзей. Они искренне пытались найти выход, даже если он означал убийство Гитлера и многих других. Но я об этом не думал, по крайней мере, в то время. Я всё ещё наивно верил, что в конце концов восторжествует разум.

Я прожил в Берлине уже несколько дней.

Однажды днем, вернувшись в свою гостиницу, я нашел два приглашения: одно от Рашида Али эль Гайлани – бывшего премьер-министра Ирака, а другое – от великого муфтия иерусалимского. Оба они находились в изгнании. Два года назад мне удалось спасти Рашида Али эль Гайлани от грозившей ему петли. Судя по приглашению, он всё ещё с благодарностью вспоминал человека, который устроил его побег из тюрьмы накануне казни, и рад был видеть меня у себя дома. Разумеется, я принял его приглашение и с нетерпением ждал дня, когда мы сможем провести несколько часов в одинаково приятных для нас воспоминаниях. И действительно, наша встреча оказалась очень теплой.

Несколько дней спустя я отправился к муфтию. Раньше мне никогда не приходилось иметь с ним дело. Его приглашение объяснялось, несомненно, стремлением приобрести благосклонность немцев, которой наперебой добивались арабские политиканы. Безусловно, они переоценивали мое служебное положение.

Перед обедом я уже сидел у великого муфтия. От

медлительного и вдумчивого Рашида Али муфтий отличался большой живостью и способностью быстро схватывать самое существенное в любой ситуации. Он выглядел точно таким, каким изображен на многочисленных фотографиях, появлявшихся в то время в иллюстрированных газетах и журналах. У него была великолепная, аккуратно подстриженная и выкрашенная хной борода, которая, помню, в тот вечер произвела на меня большое впечатление.

За обедом я сидел справа от муфтия – конечно, это была высокая честь, и я едва ли мог претендовать на неё по занимаемому мною положению, тем более, что на обеде присутствовал господин Гробба – бывший германский посланник в Багдаде. Сначала я испытывал от этого некоторую неловкость, но, заметив на лице господина Гробба плохо скрытую досаду, почувствовал даже удовлетворение.

После обеда (естественно, женщин за столом не было) великий муфтий отвел меня в сторону. Разговор коснулся сначала Турции, а затем военного положения вообще. Великий муфтий оказался пессимистом. Он реально смотрел на вещи и поэтому предвидел конец Германии, а заодно и своего собственного благополучия.

Наша беседа носила довольно поверхностный характер. Но и теперь, когда прошло уже столько времени, я всё ещё помню многое из того, что он сказал мне. Мы говорили о реформах, с таким поразительным успехом проведенных Кемалем Ататюрком, реформах, которые вызвали коренные изменения в Турции. Затем мы перешли к реформам вообще, затронув, между прочим, вопрос о том, что стоит только перегнуть палку, и всякая хорошая реформа неизбежно провалится.

– Все идеи, – заметил великий муфтий, – содержат в себе зародыш своего собственного уничтожения. Идеи, как и люди, часто умирают мирно, просто от старости. Но некоторые идеи, нередко даже хорошие, подчас попадают в руки людей, которые используют их как оружие в борьбе против естественного хода событий. Такие идеи гибнут.

Теперь мне ясно, что потомок пророка говорил о Третьем Рейхе и близком крушении тех идей, на которые он опирался.

Через несколько дней, во время этого слишком уж затянувшегося пребывания в Берлине, я был приглашен на чай к японскому послу Осима. Я никогда не встречал его раньше и поэтому удивился, что мне оказана такая честь.

По-видимому, это приглашение следовало объяснить теми дружескими взаимоотношениями, которые установились у меня с японским посольством в Анкаре. Курихара – японский посол в

Анкаре – был одним из самых обаятельных дипломатов, которых мне когда-либо приходилось знать. Казалось, он питал ко мне симпатию и, возможно, говорил обо мне своему берлинскому коллеге. Посол Осима принял меня в своем кабинете. Он очень интересовался положением в Турции, считая её узловым пунктом мировой политики. Он долго говорил об оси Берлин – Рим – Токио, выразив сожаление, что из неё вышла Италия. Во время чаепития он часто поглядывал на огромную карту мира, которая почти закрывала одну из стен его кабинета. Я заметил, что его взгляд всё время останавливался на Москве.

Позже, когда я уходил, Осима очень любезно проводил меня до двери и, передавая сердечный привет и наилучшие пожелания своим соотечественникам в Анкаре, между прочим сказал:

– Кстати, поздравляю вас с успехом.

Мне показалось, что в его голосе прозвучал довольный смешок, а в темных глазах мелькнула понимающая улыбка. И только когда я вышел из посольства и побрел по Тиргартену, с наслаждением вдыхая его свежий воздух, я понял, что посол намекал на Цицерона.

Неужели об этом так много говорят в Берлине? Должно быть, люди шепчутся на вечеринках: «Слышали последние новости от Цицерона?» Вернувшись в «Кайзерхоф», я вовсе не чувствовал себя счастливым.

Но это ещё не все. Один из последних вечеров я провел в частном доме на окраине Берлина, где в числе гостей были многие выдающиеся общественные деятели и члены нацистской партии. Здесь меня считали своего рода знаменитостью, душой вечера – потому, что за мной стояла тень Цицерона.

Мне недолго пришлось оставаться в неведении относительно цели моего приглашения на этот вечер. Сначала я притворился глухим, затем очень глупым, но ничто не помогало. Очевидно, я перестарался, играя роль дурачка, так как мои хозяева, не отличавшиеся большим тактом и благоразумием, в конце концов обратились ко мне, несмотря на присутствие многочисленных слушателей:

– Не расскажете ли вы нам что-нибудь о Цицероне?

Я долго думал, что ответить, и, не видя никакого другого выхода, начал самым серьезным и, нудным тоном подробно описывать жизнь Марка Тулия Цицерона – современника Юлия Цезаря.

Я говорил монотонно и скучно, и притом, кажется, слишком громко, пока не заметил, что мои слушатели один за другим стали откалываться.

Хозяин позже всех понял этот достаточно ясный намек.

В тот вечер произошло нечто ещё более поразительное. В общей беседе речь зашла о войне, принимавшей тогда все более ожесточенный характер. Прошло десять месяцев после окончания Сталинградской битвы. Один из присутствовавших, который, судя по его положению, должен был сознавать, что он говорит, сказал:

– Все равно Германия поразит весь мир, когда узнают, с какими незначительными ресурсами Адольф Гитлер выиграл эту войну.

Как и все остальные, я был поражен. Вот уже до чего дошло!.. Говорить так после Сталинграда было преступлением по отношению к собственной нации.

Я так и сказал тогда. Я хорошо знаю, прибавил я, что империи создаются с помощью насилия, на крови и слезах. История прощает любое действие при условии, что оно увенчается успехом. Однако я никогда не слышал, чтобы какая-нибудь империя создавалась при таком поверхностном, легкомысленном отношении к истории. Нельзя построить империю, прибегая к блефу, особенно если этот блеф становится предметом хвастовства ещё до того, как он получит оправдание. Долг каждого гражданина страны, начавшей войну, – отдавать все свои силы государству и сохранять уверенность в победе.

В тот вечер я был так озлоблен, что потерял всякое чувство меры и способен был буквально заговорить всех присутствующих.

Утром 22 ноября мне сообщили, что министр иностранных дел приказал мне немедленно вернуться в Анкару.

Во время моего двухнедельного пребывания в Берлине я больше не видел его. Дело, которое я выполнил за это время, вполне можно было бы закончить за один день.

В тот же вечер я уехал из Берлина экспрессом Берлин – Бреслау – Вена. Хорошо, что я рано приехал на вокзал, так как, к моему удивлению, поезд отошел раньше указанного в расписании срока и прошел, не останавливаясь, мимо нескольких пригородных станций, на которых предполагалась посадка.

Лишь в полночь, в Бреслау, я узнал, в чем дело. В момент отправления нашего поезда с запада приближалась к Берлину большая группа английских бомбардировщиков. Это был первый из многочисленных ожесточенных воздушных налетов, который вызвал значительные разрушения, особенно в центре города. Сильно пострадала также гостиница, в которой я останавливался, и прилегающие к ней здания. Еще раз мне улыбнулось счастье.

Это была моя последняя поездка в Берлин во время войны. Тогда я ещё не знал, что до октября 1945 года моя нога не ступит на землю Германии.

# Глава шестая

24 ноября поздно вечером наш «Юнкерс-52» благополучно приземлился на стамбульском аэродроме. Было уже слишком поздно, чтобы успеть на ночной анкарский экспресс, и поэтому ночь я провел в Стамбуле. Поскольку поезд на Анкару отправлялся лишь один раз в сутки, мне предстояло в полном бездействии провести здесь весь следующий день.

Из окна гостиницы я видел противоположный азиатский берег, отделенный от европейского лишь узким Босфорским проливом. За маяком «Линдер» были видны Ускюдар и Хайдарпаша, за ними Улудаг – одна из самых высоких гор в Турции. Этот чудесный вид дополнялся обширными просторами Мраморного моря. На фоне нежно-голубого ноябрьского неба выделялся изящный силуэт мечети Айя-София.

Любуясь всем этим, я почти забыл о своих заботах. Я хорошо выспался и целый день отдыхал, а в конце дня сел на паром у Галатского моста, который доставил меня в Хайдарпашу. Поезд отправился в шесть часов вечера. Медленно двигался он через сады Стамбула, в которых даже в это время года при свете угасающего дня можно было видеть мириады роз. Быстро наступила ночь. Когда поезд подходил к Изниту, я уже спал. Поезд поднимался все выше и выше, взобравшись на высоту почти в тысячу метров. Он проходил через бесчисленные туннели, оставляя позади роскошную растительность побережья Мраморного моря и углубляясь в просторы печальной анатолийской равнины.

Через шестнадцать часов экспресс прибыл на построенный в современном стиле анкарский вокзал. Десять минут спустя я уже был дома и, быстро переодевшись, отправился в посольство.

Шнюрхен сказала мне, что во время моего отсутствия несколько раз звонил по телефону мсье Пьер. Он просил передать, что, может быть, позвонит и сегодня. Я небрежно кивнул головой.

– Больше ничего?

– Нет, есть ещё.

Шнюрхен недавно вышла замуж и хотела получить отпуск на несколько дней, чтобы съездить в Стамбул, где она должна была встретиться с мужем. Это не разрешалось, поэтому приходилось действовать неофициально.

– Хорошо, поезжайте, – сказал я. Затем я отправился к послу, который хотел знать все новости, привезенные мною из Берлина. Слушая меня, он качал головой и мрачнел. Когда я передал ему

последние слова Осима, он возмутился.

– Еще можно понять, когда министры сомневаются в подлинности этих документов. Но почему же, черт возьми, они болтают о них? Хвастают тем самым, во что, как они заявляют, не верят. Вот увидите, из-за этих болтливых идиотов мы попадем в грандиозный скандал, сначала здесь, в Турции.

В этот же день, немного позже, позвонил Цицерон. Он хотел встретиться со мной в девять часов. Поскольку мы с ним уговорились никогда по телефону не упоминать о месте нашей встречи, я решил, что оно остается прежним. Я приехал туда точно в назначенное время. Цицерона не было. Я объехал весь квартал, но не нашел его, снова вернулся на старое место и только тогда увидел, что Цицерон бежит навстречу к машине, неистово размахивая электрическим фонарем. Я не понимал, останавливает ли он меня или вся эта световая сигнализация означает, что я должен ехать дальше. Нужно серьезно поговорить с ним об этих детских выходках: турецкая полиция вполне могла их заметить.

Наконец, он сел в машину. Кажется, Цицерон был в великолепном настроении. Он сказал, что скучал по мне и удивлялся, где я мог так долго пропадать. Узнав, что я ездил в Берлин исключительно из-за него, он был очень доволен и польщен. В мое отсутствие, сообщил затем Цицерон, ему удалось сфотографировать больше пятидесяти очень ценных документов, но он не осмелился держать их у себя, так как считал это опасным. Не зная, когда я вернусь, он решил засветить пленки. Цицерон хранил их, и я должен был за них заплатить обычную цену.

– Об этом не может быть и речи, – ответил я. – Как вы думаете, что сказали бы мои начальники в Берлине, если бы я скупал засвеченные пленки по пятнадцати тысяч фунтов стерлингов?

Он молча пожал плечами.

Я остановил машину возле дома, в котором жил один из моих друзей. Я заранее договорился с ним, что на этот вечер он предоставит в мое распоряжение комнату, где мы с Цицероном сможем спокойно побеседовать. Мой друг ждал нас. Он не имел ни малейшего представления о том, кто такой Цицерон, и, проводив нас в музыкальную комнату, благоразумно оставил одних.

Войдя в комнату, Цицерон с любопытством стал оглядываться вокруг, рассматривая дорогую, со вкусом подобранную мебель. Я передал ему пятнадцать тысяч фунтов стерлингов за документы, принесенные им перед моим отъездом в Берлин. Он положил на

маленький столик две новые катушки фотопленки, а затем снова заговорил о той пленке, которую ему пришлось испортить. Когда он положил эту катушку вместе с двумя новыми, я взял её и положил ему обратно в карман. При этом мои пальцы коснулись чего-то холодного, металлического.

– Вы носите с собой револьвер? – спросил я.

– На всякий случай, – ответил он небрежным тоном. – Я не намерен попасться к ним в руки живым.

Не знаю, сочли ли бы в Берлине эти слова доказательством того, что он нас не обманывает.

На столе был приготовлен ужин – бутерброды и графин с вином. Цицерон закусил, а потом сел на диван рядом со мной. Очевидно, чувствуя себя как дома, он попросил у меня сигарету.

– Расскажите мне о смерти вашего отца, – сказал я, протягивая ему портсигар.

– Рассказывать-то нечего, – ответил он. Настроение его сразу же изменилось: из жизнерадостного он превратился в угрюмого. – Вообще я не люблю говорить об этом. Почему вы так упорно расспрашиваете о моей личной жизни? Быть может, это немецкая привычка, но мне она совсем не нравится.

– У меня нет ни малейшего желания вмешиваться в ваши дела – просто мне было приказано расспросить вас. В Берлине по вполне понятной причине стремятся иметь больше сведений о человеке, который снабжает их такой ценной информацией. Они хотят знать, что вы собой представляете и каковы мотивы ваших действий. Можете называть это немецкой педантичностью, но уверяю вас, тут не праздное любопытство.

– Как бы вы ни называли этот странный интерес, он мне не нравится. Моя личная жизнь вас не касается. Я вам не слуга и не обязан отвечать на подобные вопросы. Я рискую жизнью, доставая вам документы. Вы платите за них. Этим дело и должно ограничиться. Я не вижу оснований делать для вас что-то ещё. Кроме того, мне, может быть, вовсе не хочется говорить о своем прошлом.

– Я был бы самым последним человеком, если бы пытался заставить вас делать это. Я не знал, что смерть вашего отца связана с какой-то тайной. Однажды вы упомянули, что его убил англичанин, и меня заинтересовали подробности.

– Его застрелили, и тут нет никакой тайны. Это был несчастный случай, который произошёл на охоте. Моего отца наняли загонщиком, и глупость одного дурака-англичанина стоила ему жизни. Но кому дорога жизнь бедного албанца!

Цицерон успокоился и выпил ещё немного вина. Я ничего не сказал, а он, помолчав немного, продолжал:

– Если бы этот идиот-англичанин, прежде чем идти на охоту, научился правильно обращаться с ружьем, вся моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Может быть, у меня было бы счастливое детство. Теперь, конечно, у меня есть деньги, много денег, и будет ещё больше, но…

Он, не договорив, замолчал.

– Видите ли, – снова заговорил Цицерон, – мой отец ненавидел иностранцев. В наши горы они не принесли с собой ничего, кроме несчастья. Я ненавижу их ещё больше, чем отец.

– Вам известно имя англичанина, который убил вашего отца? – спросил я после продолжительного молчания.

– Я никогда не видел эту свинью, но я знаю его имя. Когда я немного подрос, я обратился по этому поводу к властям. В конце концов они дали мне немного денег. Компенсация за сиротство! Их мне хватило, чтобы добраться до Турции. Но от этого я не перестал ненавидеть англичан. – Затем он добавил театральным тоном: – А теперь я мщу.

– Есть ли у вас ещё какие-нибудь причины ненавидеть их?

– Много. Они плохо обращаются со мной. Не посол – он достаточно вежлив, – но некоторые другие. Они не считают слуг за людей.

– В таком случае, почему же вы продолжаете служить у них?

– Если бы я не делал этого, вы бы не получили их секретные документы, не так ли? Мне доставляет удовольствие обманывать их. Но скоро наступит момент, когда с меня будет довольно. Тогда я уеду куда-нибудь, где меня никто не знает и где нет никаких англичан.

– При условии, если они раньше не поймают вас.

– Я не думаю, что они поймают меня. К этому я готовился годами, все продумал до мельчайших деталей. Но даже если меня поймают, им все равно не удастся взять меня живым.

За вечер он уже второй раз сказал это. Было почти одиннадцать, когда Цицерон ушел от меня, взглянув на свои дешевые часы из сплава меди с оловом и цинком. От моего предложения подвезти его он отказался. Вероятно, он спешил.

Я поехал обратно в посольство, где запер фотопленки в своем сейфе. Мое прежнее рвение теперь несколько охладело после того приема, который был оказан мне в Берлине; с проявлением пленки и печатанием снимков можно было повременить до утра. Я отправился домой, раздумывая о том, что мне рассказал Цицерон.

Его рассказ показался мне правдоподобным, однако в нем слышались нотки дешевой мелодрамы, заставившей меня отнестись ко всему этому несколько скептически. Я был уверен,

что в Берлине его рассказ не произведет никакого впечатления.

Я понимал, конечно, что мне, европейцу, воспитанному в Австрии, мир магометанина – албанца, выросшего в горах, в атмосфере жестоких распрей и кровной мести, должен был казаться странным, надуманным. Но мы так никогда и не узнали, правдоподобен ли был рассказ Цицерона о смерти отца или он выдумал его, чтобы менее корыстной выглядела причина его предательства. Его рассказ не помог нам решить вопрос о подлинности документов, и это совершенно необходимо было выяснить в ближайшие несколько дней.

Следующим курьерским самолетом я отправил в Берлин двадцать новых фотоснимков. Один из них вызвал в Берлине больше волнений, чем какой-либо другой из доставленных Цицероном до сих пор. Это был текст радиограммы, на полях которой имелись сделанные от руки технические пометки, относящиеся к радиосвязи между Лондоном и Анкарой. Как я узнал потом, он оказался чрезвычайно ценным для германской секретной службы: с его помощью удалось разгадать очень важный шифр англичан.

Среди отправленных документов был также материал, имевший довольно большое политическое значение. Это был черновик доклада посла Великобритании о взаимоотношениях между Анкарой и Лондоном. Почти весь он был написан ровным, четким почерком самого посла; в нем было много поправок, сделанных очень аккуратно. Для нас, сотрудников германского посольства в Турции, этот доклад был исключительно важен: он ясно показывал решимость турок воздержаться от участия в войне. Англичане же, естественно, стремились к тому, чтобы Турция, сохраняя нейтралитет, вооружилась, а затем сконцентрировала свои войска во Фракии, тем самым заставляя немцев держать как можно больше дивизий в Болгарии. Разрыв дипломатических отношений между Германией и Турцией должен был быть первым шагом на пути к этому.

Конечно, мы и раньше прекрасно видели, к чему стремились англичане, но мы не знали, как близки они были к реализации своих планов. Больше того, намерения противника, так детально излагаемые его авторитетным представителем, раскрывались благодаря этому документу особенно ясно. Я был поражен тем, как спокойно и трезво сэр Хью оценивает международную обстановку, как он не отмахивается от неприятных фактов и не увиливает от рассмотрения трудных вопросов, даже если сделанные им выводы не нравились Уайт-холлу.[6] Так, он не делал ни малейшей попытки скрыть, до какой степени доходило влияние германского посла на внешнюю политику Турции.

Такого рода черновики и документы могли бы стать неоценимым материалом для наших германских политиков, если бы они пожелали учиться у противника, перенимая испытанные методы английской дипломатии. К несчастью для нас, наши руководители в Берлине были слишком самоуверенны – они не допускали и мысли, что англичане могут чему-нибудь научить их. Они не хотели верить ни одному факту, противоречащему их собственным понятиям.

Поэтому черновик сэра Хью был оценен по достоинству скорее в Анкаре, чем в Берлине.

«Ясно и трезво оцененные факты изложены в черновике с большим знанием дела» – таково было заключение фон Папена после того, как он внимательно изучил этот документ, написанный мелким разборчивым почерком его коллеги из вражеского стана. И он добавил:

– Берлину не очень-то понравится это.

Что касается моей работы с новыми пленками, то здесь возникли чисто технические трудности. Не надо было быть специалистом-фотографом, чтобы понять это. Очевидно, на этот раз Цицерон спешил гораздо больше обычного. У него не хватило времени даже разгладить фотографируемые бумаги: один или два снимка были скрыты за другими документами, некоторые из негативов оказались не в фокусе. Вообще все они были гораздо менее отчетливыми, чем документы, доставленные раньше.

Отправляя фотографии и пленки в Берлин, я, как обычно, приложил к ним сопроводительную записку. В ней я приводил рассказ Цицерона о смерти отца, упомянув также о том, как его испугало мое долгое отсутствие и что поэтому он засветил фотопленку, на которой, по его словам, были сняты особо важные документы. Надо сказать, последнее я вставил только для того, чтобы досадить Риббентропу. Это была моя небольшая месть за его обращение со мной в Берлине.

Через несколько дней я получил ответ. В обычном повелительном тоне мне приказывали заставить Цицерона ещё раз сфотографировать упомянутые документы.

В последние дни ноября я снова поехал в Стамбул. Досадно было так скоро пускаться в путешествие после недавнего своего возвращения, но на это у меня были особые причины.

Недавно Цицерон попросил меня, в виде особого одолжения, достать ему на пять тысяч фунтов стерлингов американских долларов. Он считал, что самому ему было бы глупо менять такую большую сумму в одном из местных банков – это неизбежно вызвало бы подозрение. А доллары были срочно нужны ему, так как представился случай сделать выгодный вклад.

В это время Цицерон почти ежедневно доставлял нам чрезвычайно важные документы. И чтобы поддержать его хорошее настроение, я решил помочь ему.

Удержав пять тысяч фунтов стерлингов из той суммы, которую предстояло уплатить ему в следующий раз, я отправился с ними в наш собственный банк в Анкаре, где попросил управляющего обменять эти фунты на доллары. Управляющий ответил мне, что я пришел в очень удачный момент: один из его клиентов, делец-армянин, собираясь отправиться за границу, просил его обменять доллары на фунты стерлингов. Сделка была заключена, и я передал Цицерону банкноты в долларах.

В течение некоторого времени я ничего больше не слышал об этой сделке и почти забыл о ней, когда управляющий банка вдруг позвонил мне по телефону. Казалось, он был сильно расстроен. Я немедленно отправился к нему и узнал, что он только что получил телеграмму из Швейцарии. Какой-то швейцарский делец купил у армянина банкноты в фунтах стерлингов и поехал с ними в Англию, где обнаружилось, что деньги фальшивые. Об этом сообщили в Анкару управляющему банка, так как он был посредником при совершении этой сделки. Теперь ему угрожала опасность попасть в беду.

Я немедленно послал в Берлин подробный отчет о совершенной мною сделке и просил указаний. Вскоре я получил ответ, выражавший негодование по поводу моих нелепых сомнений в полноценности денег, высылаемых Вильгельмштрассе. В ответе говорилось о недопустимости высказывания подобных предположений. Далее утверждалось, что во время длинного пути, пройденного английскими банкнотами, кто-то, вероятно, обменял их на фальшивые или же армянин выдумал всю эту историю, пытаясь меня обмануть. Однако нельзя допустить даже намека на скандал, и потому необходимо немедленно уладить это дело. Я получил указание как можно тактичнее изъять фонды посольства из анкарского банка и отказаться от его услуг. Берлин не хотел больше слышать об этой истории.

Во время моего последнего пребывания в Берлине там ходили слухи, что в Германии печатаются поддельные английские бумажные деньги, особенно в крупных купюрах, – их предполагалось переправлять в нейтральные страны. Я спрашивал об этом многих официальных лиц, и неизменно получал категорический отрицательный ответ. Теперь старые слухи снова всплыли в моей памяти.

Указания Берлина я выполнил, и дело с банком было улажено без всякого шума. Но меня это мало радовало.

Неужели в Берлине печатают фальшивые банкноты? Не настолько же глупы руководители министерства, чтобы поставить под угрозу всю операцию и самого Цицерона, выплачивая ему фальшивые фунты стерлингов. Все же я хотел сам убедиться в полноценности денег, которые я платил Цицерону.

Для этого из каждой пачки денег, лежавших в моем сейфе, я отобрал по одному кредитному билету. В общей сложности они составили десять тысяч фунтов стерлингов. С ними я и поехал к управляющему стамбульского банка, с которым вело расчеты германское генеральное консульство. Я попросил его осмотреть деньги, сказав, что они предложены нам для продажи и что меня просили проверить, действительно ли они настоящие. Дня через два я пришел за ними. Деньги оказались полноценными. Итак, хоть одна гора свалилась с моих плеч.

С первой курьерской почтой, полученной в декабре на мое имя, поступила довольно любопытная вещь. Это было почти полное собрание книг о выдающихся случаях шпионажа в двадцатом столетии. Среди них, мне помнится, была монография Ронге «История шпионажа во время первой мировой войны». Я не заказывал этих книг, и у меня не было ни времени, ни желания читать их. К книгам была приложена сопроводительная записка, в которой довольно тактично указывалось, что тщательное их изучение поможет мне при проведении операции «Цицерон». Я засунул все эти книги в нижний ящик письменного стола, где они так и пролежали нечитанными, являясь лишним свидетельством немецкой педантичности.

На сопроводительную записку я вежливо ответил, что у меня нет времени на чтение беллетристики, к тому же очень трудно провести какую-либо параллель между операцией «Цицерон» и, скажем, случаем с Матой Хари или делом Дрейфуса. Я высказал предположение, что мне было бы лучше руководствоваться здравым смыслом. Однако если мне действительно хотят помочь, то лучше бы они выяснили запутанный вопрос о том, в чьем подчинении я нахожусь. Через некоторое время я получил неофициальную записку, в которой мне советовали немного потерпеть – ссора между Риббентропом и Кальтенбруннером продолжалась.

Почти целую неделю я ничего не слышал о Цицероне, однако за это время получил из Берлина официальный ответ на вопрос относительно моего положения.

Письмо было помечено грифом «Совершенно секретно. Вскрыть лично». Оно содержало составленное в очень резкой форме приказание Кальтенбруннера больше не информировать посла фон Папена об операции «Цицерон». Я ни в коем случае не

должен был показывать ему документы.

Но я тут же решил не выполнять этих указаний, если буду чувствовать, что тот или иной документ может пригодиться послу в его работе. Когда я показал фон Папену это письмо, он возмутился и расстроился. Если приказание Кальтенбруннера будет подтверждено Риббентропом, сказал мне посол, он тотчас же подаст в отставку.

Что касается меня, то из-за своего неподчинения приказу я попал позднее в весьма неприятное положение.

В декабре Цицерон работал очень плодотворно. Он доставлял нам чрезвычайно важный материал и в таком количестве, как никогда. Не оставалось больше ни малейших сомнений в том, что он нас не обманывает.

В Берлине, наконец, начали сознавать значение этой операции. С каждым курьерским самолетом туда прибывали все новые и новые совершенно секретные английские документы, причем настолько важные, что даже личная распря между Риббентропом и Кальтенбруннером временно отошла на второй план. Однако отношение Риббентропа к операции «Цицерон» оставалось, пожалуй, без изменений; во всяком случае, он продолжал хранить высокомерное молчание и ограничивался лишь чтением документов. Очевидно, министр иностранных дел всё ещё сомневался в их достоверности. По этой ли причине или же из-за своего враждебного отношения к операции «Цицерон», он не делал никаких попыток как-то использовать ценнейшие сведения.

А Цицерон в этот беспокойный декабрь казался совсем иным человеком. Он был теперь вполне дружески ко мне настроен, даже довольно разговорчив; по-видимому, он совсем преодолел свою первоначальную замкнутость и сдержанность. И лишь когда я задавал ему вопросы о его личной жизни, он опять уходил в себя, давая понять, что это не мое дело.

Как видно, Цицерон очень гордился своими успехами. Во время наших ночных встреч он любил поговорить о своем будущем. Ему доставляло удовольствие мечтать о большом доме, который он собирался приобрести в какой-нибудь приятной для него стране, далеко отсюда. Помнится, он хотел иметь много слуг. Иногда своим радостным возбуждением он напоминал мне ребенка в канун рождества. Быстро ухудшающееся положение Германии, казалось, нисколько не тревожило его.

– Я составил план действий на случай всяких непредвиденных обстоятельств, – однажды сказал он мне со своим обычным высокомерным видом. – Я точно знаю, что буду делать, если Германия проиграет войну.

Но он не раскрыл мне этих планов. В его наружности также произошли значительные изменения. Теперь он стал носить хорошо сшитые костюмы из самого лучшего английского сукна и дорогие ботинки на толстой подошве из каучука. Когда он однажды появился с большими роскошными золотыми часами на руке, я решил с ним поговорить.

– Не думаете ли вы, что ваш шеф и другие могут заметить все эти дорогие вещи? Вдруг у них возникнет вопрос, откуда у вас такие большие деньги. Откровенно говоря, вы ведете себя весьма опрометчиво. Ваше поведение кажется мне крайне опасным.

Цицерон задумчиво посмотрел на меня. Мои слова, несомненно, произвели на него большое впечатление. Он моментально снял часы и попросил меня оставить их у себя до тех пор, пока ему не представится случай отвезти их в Стамбул и отдать на хранение вместе с другими ценными вещами.

Цицерон очень любил драгоценности. Однажды он попросил меня выдать причитавшиеся ему обычные пятнадцать тысяч фунтов стерлингов не в английских кредитных билетах, а бриллиантами и другими драгоценными камнями. Сам он не хотел покупать их, боясь возбудить подозрение.

Я сказал ему, что было бы в равной степени подозрительно, если бы я пошел в магазин и купил на пятнадцать тысяч фунтов стерлингов бриллиантов. Однако, я все же согласился приобрести ему драгоценностей на две тысячи фунтов стерлингов. В пределах этой суммы я мог действовать совершенно спокойно, делая вид, что покупаю подарки для своей жены.

Другой заметной переменой во внешности Цицерона были его ногти. Когда я встретил его в первый раз, все они были изгрызены до самых корней. А теперь Цицерон делал даже маникюр.

Его прежняя нервозность совершенно исчезла: он перестал заглядывать за занавески и резко открывать двери. Он настолько уверился в себе, что я даже начал бояться, как бы он ни натворил чего-нибудь по неосторожности. К середине месяца, однако, от его самоуверенности не осталось и следа, но об этом речь будет впереди.

Вскоре после того, как окончились конференции союзников в Каире и Тегеране, Цицерон позвонил мне, прося о встрече. В тот вечер я должен был присутствовать на официальном обеде, отказываться от которого было уже неудобно, и поэтому я назначил ему время встречи несколько ранее обычного.

В восемь часов вечера я уже был на условленном месте. Цицерон вскочил в медленно двигавшуюся машину, как обычно, со своей удивительно кошачьей ловкостью. Казалось, он тоже

спешил. Я вручил ему пухлую пачку денег, которую он засунул прямо в карман, а Цицерон передал мне две катушки фотопленки. Как выяснилось позже, они оказались самой ценной информацией, которую Цицерон когда-либо извлекал из сейфа посла. Затем он сказал, что через несколько дней принесет новые документы, и на следующем темном повороте выскользнул из моей машины так же бесшумно, как и вскочил в нее.

Я не хотел запаздывать на обед больше, чем это принято, и поэтому поехал прямо туда, не отвозя пленки в посольство.

Обед был не особенно приятным, по крайней мере, для меня. Каждые две минуты я засовывал руку в карман, чтобы убедиться в сохранности пленок.

Беспокойство за секретные документы, лежавшие у меня в кармане, сделало меня плохим собеседником. Да и в бридж я играл в этот вечер из рук вон плохо.

Стараясь не нарушать приличий, я извинился за свой ранний уход и, отправив жену домой, поехал в посольство. Прежде всего я хотел запереть фотопленки в сейф, отложив проявление и печатание до утра, но любопытство одолело меня, и я решил тотчас же приступить к делу.

В фотолаборатории я провел целую ночь и закончил работу лишь на рассвете. В моих руках оказались все протоколы Каирской и Тегеранской конференций.

Утром я продолжал работать над составлением доклада в Берлин. Моя педантичная Шнюрхен, явившаяся ровно в девять ко мне в кабинет, вероятно, удивилась, увидев своего начальника сидящим за пишущей машинкой в смокинге. Но она ещё раз показала свою прекрасную подготовленность к дипломатической работе, не сказав ни слова ни по поводу моей одежды, ни по поводу того, что я предпочел сам печатать на машинке, а не диктовать ей.

Благодаря этим документам нам стали совершенно ясны ход военных действий и направление политики союзников, определившееся на трех недавних встречах руководителей союзных стран. Первая – созванная Сталиным Московская конференция, на которой присутствовали Иден и Корделл Хэлл; затем переговоры в Каире между Рузвельтом, Черчиллем и Чан Кай-ши и, наконец. Тегеранская конференция Большой Тройки, сыгравшая такую важную роль.

Кратко излагая в докладе основное содержание документов, я с жестокой ясностью сознавал, что пишу как бы предварительный вывод о неизбежности крушения Германии. Московская конференция провела подготовительную работу, а Тегеранская наложила окончательные штрихи. На конференциях были

разработаны планы создания нового мира, и первым шагом к этому являлось полное уничтожение Третьего Рейха и наказание его руководителей – виновников войны. Я никогда не узнал, какое впечатление произвели эти сведения на людей, чья судьба была только что решена в Тегеране. Меня же самого трясло при виде той огромной исторической перспективы, которая открывалась в украденных Цицероном документах.

Весь день я провел в хлопотах, составляя все новые и новые донесения и посылая их на одобрение фон Папену. Вечером я снова встретился с Цицероном. Он принес мне ещё одну катушку фотопленки. В ней было всего несколько кадров, но по крайней мере один из них имел огромное значение. Мы немедленно телеграфировали в Берлин, что глава турецкого государства отправился в Каир для встречи с президентом Рузвельтом и премьер-министром Черчиллем. До сих пор никто из нас, находившихся в Турции, не говоря уже о Берлине, даже не подозревал, что президент Исмет Иненю и турецкий министр иностранных дел выехали из Анкары.

Теперь Цицерон с каждым днем становился все более неосторожным. Почти через день или два он приносил новый материал. Я дал ему совершенно новенькую «Лейку» и много фотопленки, которые были присланы из Берлина. Покупка такого количества пленки в Анкаре возбудила бы подозрение.

В конце второй недели декабря Цицерон снова позвонил мне, и мы договорились встретиться с ним этим вечером. Как обычно, мы бесцельно ехали по темным улицам и переулкам Анкары. Сидя сзади, он протянул мне катушку фотопленки, а я передал ему деньги. Кроме фотопленки, он дал мне ещё небольшой пакетик.

– Раскроете его потом, – сказал он. – Там, в Берлине, будут знать, что делать с ним.

Я хотел было спросить его, что бы это могло быть, как вдруг меня ослепил яркий свет фар другой машины – через заднее стекло моей машины он отразился в находившемся передо мной зеркале.

Я высунулся из машины и увидел метрах в двадцати сзади нас длинный черный лимузин. Помню, в первый момент я мысленно похвалил себя за то, что позаботился о висевшем сзади номере: он был погнут и залеплен засохшей грязью. Немецкое происхождение «Опеля», не присматриваясь внимательно, тоже трудно было распознать ночью, и этот большой обтекаемый автомобиль можно было принять за одну из новых американских машин, которых в Анкаре было такое изобилие.

Я медленно ехал вперед, ожидая, пока лимузин проедет

мимо. Но он этого не сделал. Тогда я решил остановиться у тротуара, чтобы пропустить его. Однако большая темная машина тоже остановилась, опять приблизительно на расстоянии двадцати метров. Теперь я уже начал волноваться. Мощные фары лимузина ярко осветили внутреннюю часть «Опеля». Цицерон, задергивая занавески заднего окна, очевидно, всё ещё не сознавал, что происходит. Казалось, его беспокоил лишь свет. В этот момент я услышал гудок лимузина и увидел в зеркале, как он медленно приближается к нам.

Мною овладел смертельный ужас, и я изо всех сил погнал машину, прибавляя скорость и пытаясь отвязаться от лимузина.

Скоро я убедился, что идущая за нами машина обладает не меньшей скоростью, чем мой «Опель». Кроме того, я не мог развить предельную скорость, так как боялся сбить кого-нибудь из прохожих или во что-нибудь врезаться. Несчастный случай в этот момент означал бы конец всему. Если бы мы были убиты или серьезно ранены, турецкая полиция обнаружила бы в машине, принадлежащей германскому атташе, его самого с катушкой фотопленки и камердинера английского посла, при котором имелась огромная сумма денег… если, конечно, наши преследователи допустили бы это.

Между тем лимузин продолжал идти сзади, на прежнем расстоянии. Я снова уменьшил скорость, и теперь мы просто ползли. Вторая машина сделала то же самое. Я уже не сомневался, что за Цицероном следили, возможно, с того момента, когда он вышел из английского посольства. Все это должно было означать, что они знают, кто находится в машине германского дипломата.

Сделав над собой усилие, я перестал думать об этом. Я не собирался сдаваться, не сделав последней попытки избавиться от них.

Въехав в очень узкий и темный переулок, я медленно повернул за угол, а затем прибавил скорость и на полном ходу завернул за один угол, потом за другой. Это не помогло. В зеркале я всё ещё видел отражение темного лимузина, который держался на том же расстоянии.

Что мне оставалось делать? Если бы это было днем, я бы пытался прорваться к германскому посольству, но ночью привратнику потребовалось бы по меньшей мере одна-две минуты, чтобы открыть тяжелые железные ворота. Кроме того, даже если бы ворота были открыты, въехать в них означало бы дать преследователям неоспоримое доказательство того, что Цицерон был немецким шпионом. Наде было придумать другой выход.

Огибая углы улиц, я увидел в зеркале отражение Цицерона, который сидел, сгорбившись, в своем углу, бледный, как мертвец. Он понимал, что на карту поставлена его жизнь. Луч света от второй машины на секунду осветил его, и я увидел, что лицо его покрыто потом. Он вцепился руками в спинку переднего сиденья.

– Неужели вы не можете ехать быстрее? – спросил он хриплым шепотом.

– Могу. Но это бесполезно.

Вдруг мне пришло в голову попробовать выехать на одну из тех больших новых автострад, которые идут от Анкары в разных направлениях. На одной из них я смог бы помчаться с предельной скоростью и оторваться от лимузина. Но тотчас же понял, что этот план бесполезен. По выезде из города дороги были великолепные, но на них не было поворотов. Всякий, кто уезжал по одной из них, должен был возвращаться тем же путем. В таком случае англичанам, если это были они, не нужно было даже затруднять себя погоней: они могли просто подождать, пока я вернусь.

У меня не было револьвера. Живя в Анкаре, я никогда не носил оружия. Да это было бы бесполезным, поскольку я никогда, конечно, не стал бы стрелять первым, а стрелять вторым уже не имело смысла. Кроме того, я всегда считал, что носить заряженный револьвер опаснее, чем обходиться без него, так как он внушает человеку совершенно ложное чувство безопасности. Лучше уж полагаться на свой собственный ум – оружие куда более полезное.

Но у Цицерона был заряженный револьвер. И это было чрезвычайно опасно для нас обоих. Мне так хотелось каким-нибудь образом извлечь этот револьвер из его кармана.

Я ещё раз попробовал проделать прежний трюк. Очень медленно я проехал перекресток. То же самое сделали мои преследователи. Затем, разогнав машину, я завернул за один угол, потом за другой и, наконец, за третий. Это был критический момент. Я чувствовал, как машину заносило на двух колесах, как она скрипела на поворотах, а в одном узком переулке чуть было не задела за угол дома. Но скоро я вывел машину на прямую дорогу и опять заставил её слушаться. Обогнув ещё два угла, я достиг большого центрального бульвара Анкары, где довел скорость машины до ста десяти, а затем и ста двадцати километров. Оглянувшись, я сразу почувствовал огромное облегчение: сзади никого не было. Я продолжал ехать с прежней скоростью. Хорошо, что бульвар с его многочисленными перекрестками в этот поздний час был почти пуст. Мы пронеслись мимо огромных железных ворот германского посольства.

– Отвезите меня в английское посольство, – послышался слабый голос с заднего сиденья.

В знак согласия я кивнул головой и быстро повел машину вверх по крутому шоссе. Одиноко стоявший полицейский, спасая свою жизнь, отпрянул в сторону. Надо было обогнуть ещё один угол. Скрипя тормозами, я резко снизил скорость. Мы были не более чем в ста метрах от английского посольства. Цицерон молча выскочил из машины, и темнота поглотила его.

Обратно я возвращался тем же путем, так как другой дороги не было. Теперь я никого не видел: ни пешеходов, ни полицейского, ни машин, и, конечно, никакого темного лимузина.

Войдя к себе в кабинет, я почувствовал, что меня всего трясет. Рубашка моя промокла насквозь, а волосы прилипли ко лбу.

Я спрятал новую катушку фотопленки в сейфе. Оставался ещё маленький пакетик. В нем оказалась коричневая картонная коробочка около десяти сантиметров в длину, пяти в ширину и пяти в высоту. Внутри нее, завернутый в вату и папиросную бумагу, находился какой-то твердый предмет. Пока я разворачивал его, он выскользнул из моих трясущихся рук. Подняв его, я увидел небольшой черный предмет размером со спичечную коробку. От него шел запах воска, и я начал теряться в догадках, что бы это могло быть. Я уже собирался положить его в ящик письменного стола, как вдруг, повернув, увидел на обратной стороне оттиск двух замысловатых ключей.

Теперь мне все стало ясно. Черное вещество было куском обычного воска, а оттиск на нем, очевидно, оттиском ключей от сейфа английского посла. Цицерон прав – в Берлине будут знать, что с ним надо делать.

Я был слишком взволнован, чтобы уснуть. Но заниматься в моем состоянии такой ответственной работой, как проявление фотопленок, было просто невозможно. Поэтому я вывел из гаража старый «Мерседес» – служебную машину, которой пользовался днем, – и отправился в единственный ночной клуб Анкары.

Там я сел за столик и распил в одиночестве бутылку вина. В другом конце комнаты шумно веселилась большая группа англичан. Зная их секреты, я подумал, что они имеют на это все основания.

А я был так потрясен утренними документами и ночным происшествием, что мне было не до веселья. Я сидел, попивая небольшими глотками вино, и постепенно это успокоило мои нервы. Было уже далеко за полночь, когда я попросил подать счет.

# Глава седьмая

Лихорадочная автомобильная гонка глубокой ночью по улицам и переулкам Анкары была первым сигналом, что кто-то, кому не полагалось знать об операции «Цицерон», все же знал о ней. Эта ночь оказалась поворотным пунктом во всей операции. Лично я считаю её началом всех своих бед. И в самом деле, вскоре в Анкаре появилась Элизабет, хотя между этими двумя событиями не было никакой связи.

Я так и не узнал, кто же гнался за нами. Не думаю, чтобы лимузин принадлежал английскому посольству, а если и так, то сидевшие в нем люди все же не знали, кто находился в моей машине. Знай они об этом, Цицерон, конечно, больше не имел бы доступа к сейфу посла, – а ведь он продолжал безнаказанно хозяйничать в нем ещё в течение многих месяцев.

Может быть, в темном лимузине находились какие-нибудь гуляки, которые погнались за нами лишь от нечего делать, заметив, что мы стараемся скрыться от них. Возможно, они приняли меня за кого-нибудь другого. Словом, можно сделать множество различных предположений, но ни одно из них нельзя доказать.

Больше всего я склонен думать, что автомобиль принадлежал турецкой полиции, хотя мне было совершенно непонятно, зачем ей понадобилось гнаться за мной. Однако в пользу такого предположения говорил весьма странный случай, происшедший через несколько дней.

Я присутствовал на обеде, который давали Йенке. Среди гостей находилось несколько старших чиновников турецкого министерства иностранных дел. После обеда, когда все мы непринужденно болтали, один из них неожиданно обратился ко мне.

– Мой дорогой Мойзиш, – сказал он, – боюсь, что вы водите машину, пренебрегая правилами уличного движения. Вам следует быть более осторожным, особенно ночью.

Он обронил это замечание между прочим, во время легкой беседы, не придавая ему никакого значения. Мне же потребовалось все присутствие духа, чтобы воспринять его так же легко, как оно было сделано. С любезной улыбкой я поблагодарил его за добрый совет. Надеюсь, мне удалось скрыть свои истинные чувства.

Что же все-таки знает этот человек? – думал я. Вероятно, ему известны причины ночной гонки, но не мог же я спросить его об этом! Если за мной гналась турецкая полиция, то знала ли она,

кто был моим пассажиром? Я до сих пор думаю об этом, но не нахожу удовлетворительного ответа, да и едва ли когда-нибудь найду его.

Погоня за нашей машиной до смерти напугала Цицерона. Когда ему удалось, наконец, выскользнуть из моего автомобиля, он был на грани нервного потрясения. Однако он, должно быть, быстро пришел в себя, так как уже через три дня снова встретился со мной. На этот раз мы отправились в дом моего друга.

Здесь, чувствуя себя в полной безопасности, он рассказал мне, что после того, как мы с таким трудом избежали опасности, ему удалось пробраться в свою комнату незамеченным. Едва он успел надеть ливрею, как его пришел навестить другой слуга, очевидно, его друг. Итак, Цицерону повезло – у него был свидетель на случай, если бы его вздумали допрашивать, где он находился той ночью. К счастью, этого не случилось.

Цицерон хотел знать, отправлен ли в Берлин тот кусок воска, который он мне передал. Ему срочно нужны были ключи. Имея их, он получил бы возможность фотографировать документы в большей безопасности, когда его шефа не было в посольстве. Очевидно, в тот вечер у Цицерона было много свободного времени. Угощаясь вином, бутербродами и сигарами, он чувствовал себя непринужденно и беззаботно. Он оказался даже болтливым, хвастался, много говорил о своих стремлениях, кичился своей принадлежностью к культурному миру. В будущем камердинер английского посла намеревался посвятить себя музыке. Он сделал бы это раньше, да обстоятельства не позволяли. Цицерон очень гордился своим голосом и спел мне несколько арий из «Паяцев» Леонкавалло. У него был легкий, приятного тембра тенор. Но что особенно поразило меня в ту ночь – это выражение, которое появилось на его суровом, некрасивом лице, когда он пел. Казалось, под влиянием музыки он становился совсем другим человеком.

В тот вечер вино сделало Цицерона очень добродушным, и это помогло мне выполнить недавно полученное из Берлина указание не совсем приятного свойства. Мне предлагалось сократить плату за каждую катушку пленок с пятнадцати тысяч фунтов стерлингов до десяти. К моему удивлению, Цицерон охотно согласился на снижение платы.

Дня через два он принес мне новую пленку, которая, после того как я проявил её и отпечатал снимки, причинила мне массу хлопот и неприятностей. Это был такой же интересный и важный документ, как и прежние. Но меня смутил не текст. На увеличенном снимке с края был ясно виден отпечаток двух пальцев, показывавший, в каком положении держали оригинал во

время фотографирования. Я не сомневался, что это были указательный и большой пальцы Цицерона.

У меня хорошая зрительная память на руки. Я помнил, что Цицерон носил на указательном пальце довольно большое кольцо с печаткой, и оно было ясно видно на снимке. Мне тотчас же пришла в голову мысль, что если англичане когда-нибудь увидят этот снимок, Цицерону придет конец.

Когда я увидел его в следующий раз, на его пальце, как всегда, было это кольцо. В дальнейшем оно доставило массу неприятностей и мне, так как служило неопровержимым доказательством того, что у Цицерона все-таки был помощник. Так снова воскресли прежние сомнения в подлинности документов. Подозрения Риббентропа, и без того уже сильные, должны были ещё больше возрасти. Кроме того, надо было ожидать нового потока запросов от ведомства Кальтенбруннера.

В Берлине с самого начала больше всего интересовались тем, как Цицерон фотографирует документы. Мне приходилось входить в мельчайшие детали, объясняя все или, по крайней мере, то, что я знал. Цицерон неоднократно рассказывал мне, как он проводит съемку: не пользуясь треножником или какой-либо другой подставкой, он просто держит «Лейку» в руке. Пальцем этой же руки он устанавливает экспозицию и открывает затвор. Кажется почти невозможным сделать хороший снимок, держа в одной руке аппарат, а в другой – фотографируемые документы. Ясно, что либо у Цицерона есть помощник, либо он неправильно информирует меня о своем методе съемки.

И то и другое могло вызвать в Берлине только крайнее раздражение.

Едва там получили снимок с отпечатками пальцев, как на меня обрушился поток телеграмм: почему, как, откуда, чем, почему нет и прочее и прочее. Я должен расспросить Цицерона как можно быстрее, немедленно, тотчас же. Объяснение должно быть получено в течение двадцати четырех часов… необходима абсолютная точность… и так далее и тому подобное.

Все это доводило меня почти до сумасшествия. В Анкаре у нас есть человек, доставляющий Германской империи ценнейшие сведения о Тегеранской конференции и других важных событиях. Сомневаться в подлинности документов невозможно, ибо её подтверждают доказательства внутреннего и внешнего характера, да и весь ход последующих событий. Лично мне в этих условиях казалось абсолютно несущественным, работал ли Цицерон один или у него был помощник. Рассматривать эту «проблему» как суть всей операции, без конца задавать одни и те же надоедливые вопросы, которые только раздражали Цицерона, казалось мне

верхом глупости.

Допустим, что у Цицерона был-таки сообщник, которого по какой-то причине он не хотел называть. Разве это имеет какое-нибудь значение? Да и как я мог заставить его раскрыть свой секрет, если он предпочитал не делать этого? Я придерживался мнения, что до тех пор, пока Цицерон передает нам документы, он может лгать нам, сколько ему угодно. Конечно, я тоже был озадачен этими отпечатками пальцев. Теперь ясно, что он работает не один.

Пусть будет так, но какое это имеет значение? Почему нужно бесконечно надоедать мне вопросами, на которые нельзя дать ответов, так как Цицерон не хочет отвечать на них?

Если бы это случилось до Тегеранской конференции, подозрения Риббентропа и Кальтенбруннера были бы более или менее понятны. Но поскольку не оставалось ни малейшего сомнения в подлинности Документов, мне представлялось совершенно нелепым поднимать такой шум по поводу того, лгал ли нам Цицерон в этом маловажном вопросе или не лгал.

Наконец, каких-то бюрократов в Берлине осенила, как им казалось, блестящая идея: они прислали в Анкару специалиста по фотографии, которому очень доверяли. Прибыв в Стамбул специальным самолетом, он привез с собой магнитофон и длинный список чисто технических вопросов, которые я должен был выучить наизусть.

После долгих упрашиваний мне удалось, наконец, уговорить Цицерона опять явиться ко мне в посольство. Он долго отказывался, справедливо считая это абсолютно ненужным риском, – ведь мы могли совершенно спокойно встретиться на улице или в доме моего друга. Все же он явился ко мне в кабинет, где я предложил ему те многочисленные вопросы, которые доставили мне из Берлина. Каждое слово беседы записывалось на пленку. Так как Цицерон всегда категорически отказывался видеть в посольстве кого-либо, кроме меня, я, конечно, скрыл от него, что в соседней комнате находится человек, слушающий нашу беседу.

Благополучно выпроводив Цицерона из посольства, я вернулся в свой кабинет, где меня ожидал берлинский специалист.

– Этот человек – гений в фотографии, – сказал он высокопарным тоном, – если все сказанное им здесь – правда. Я не могу утверждать наверняка, что такая съемка физически невозможна, но лишь один из тысячи шансов за то, что он работает без помощника. Только одно я могу сказать с абсолютной уверенностью: этот человек лгал в отношении

снимка, на котором видна его вторая рука. Во время фотографирования по крайней мере этого документа у него был помощник. Если говорить об остальных, то здесь, как я уже сказал, один шанс против тысячи, что он фотографировал именно так, как утверждает, и совершенно один. Однако я считаю это почти невозможным.

Специалист по фотографии на следующий день уехал обратно в Берлин. Я никогда не видел его официального доклада. С моей точки зрения, его визит имел только один положительный результат: мне перестали надоедать телеграммами, на которые я не в состоянии был ответить.

Но это ещё не все, что произошло в богатом событиями декабре. Последнее, самое значительное и неприятное событие этого года, непосредственно коснувшееся меня, произошло из-за моего шефа. Случилось вот что.

Незадолго до рождества Цицерон доставил нам новые документы. Один из них отражал развитие англо-турецких отношений за последнее время. Мы узнали, что ввиду ухудшившегося военного положения Германии. Анкара, уступая требованию англичан, готова допустить все возрастающее «просачивание» в Турцию личного состава английских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Приводились цифровые данные. Для немцев это были очень важные сведения. При данных обстоятельствах я счел своим долгом сообщить о них фон Папену, то есть на этот раз не выполнить указания Кальтенбруннера.

Посол очень расстроился – отчасти из-за того, что результаты переговоров между английским и турецким правительствами были тревожными и угрожающими для немцев, а ещё более из-за того, что он предчувствовал бурную реакцию Риббентропа. Антитурецкая позиция Риббентропа теперь может быть одобрена фюрером и высшим командованием, а вслед за этим будут приняты совершенно безрассудные меры. Учитывая все это, фон Папен решил действовать без промедления. Но его смелый шаг был чреват серьезными последствиями.

Он немедленно потребовал приема у министра иностранных дел Турции Нумана Менеменджоглу. Они долго беседовали наедине. Турецкий министр попытался рассеять подозрения германского посла. Турция не собирается нарушать нейтралитет, уверял он. Тогда господин фон Папен без колебаний рассказал о тех сведениях, которые он имел по этому поводу. Он, конечно, не цитировал буквально документов, полученных от Цицерона, но ясно давал понять, что знает гораздо больше, чем предполагает турецкое правительство. Он должен был сделать это, чтобы

обосновать свое вмешательство. С нашей точки зрения, при данных обстоятельствах важно было дать туркам понять – немцы прекрасно осведомлены о характере чрезвычайно секретных англо-турецких переговоров. Это был один из дипломатических способов нажима, ибо уже простой намек на ответные меры со стороны немцев мог заставить турок осторожнее принимать военные обязательства по отношению к англичанам. Этим решительным демаршем фон Папен, несомненно, взял быка за рога.

Нуман Менеменджоглу был чрезвычайно проницательным человеком и столь же опытным дипломатом, как и германский посол. Фон Папена, должно быть, неправильно информировали, утверждал он. В Анкаре или Лондоне действительно могло состояться несколько бесед между военными специалистами – этого он не отрицал, но заявил, что было бы неправильно придавать этим переговорам такое большое значение. Перед уходом фон Папена турецкий министр ещё раз попытался приуменьшить значение взаимопонимания между Лондоном и Анкарой.

Проводив господина фон Папена, Нуман Менеменджоглу немедленно пригласил к себе английского посла. Он передал ему каждое слово, произнесенное германским послом. Оба согласились, что фон Папен мог быть так хорошо информирован лишь благодаря просачиванию сведений из высших инстанций – либо со стороны англичан, либо со стороны турок.

Вернувшись к себе в посольство, сэр Хью был встревожен не меньше, чем Нуман Менеменджоглу. Посол немедленно, во всех деталях информировал свое министерство иностранных дел об этой беседе. Представляю себе, какую тревогу вызвало его сообщение на Уайтхолле. Я до сих пор помню последнюю фразу доклада сэра Хью: «Папен, очевидно, знает больше, чем ему следует знать».

Меньше чем через тридцать часов после того, как донесение английского посла было отправлено в Лондон, я держал в руках его фотокопию. В эти дни Цицерон работал особенно быстро.

Я не питал никаких иллюзий насчет последствий для себя лично посылки этого документа в Берлин. Из сообщения англичан было ясно, что фон Папен, ведя беседу с Нуманом Менеменджоглу, пользовался сведениями, которые могли быть взяты лишь из самых последних документов, переданных Цицероном. Как я уже говорил, в начале декабря я получил строгие указания Кальтенбруннера не показывать фотокопий послу. Когда снимки с сообщения сэра Хью о его беседе с Нуманом Менеменджоглу дойдут до Кальтенбруннера, он поймет,

что я намеренно не выполнил его строгого приказа.

Я решил было изъять этот документ, но потом понял, что это совершенно бесполезно – ведь все равно Берлин, кроме фотокопий, получил бы негатив, который немедленно был бы проявлен. Затем мне пришла в голову мысль скрыть самый факт существования всей катушки. Тогда мне пришлось бы отчитываться за те десять тысяч фунтов стерлингов, которые мы за неё заплатили. Я даже хотел заплатить деньги из своих собственных средств, но если бы я и смог собрать такую огромную сумму денег в столь короткий срок, мне все равно пришлось бы столкнуться с огромными трудностями при покупке английской валюты. Нет, выхода не было. С тяжелым сердцем я запечатал документы в конверт. При этом я чувствовал себя гак, словно отправлял по почте свой смертный приговор.

В течение некоторого времени ничего нового не случилось. Зловещее молчание Кальтенбруннера действовало на нервы больше, чем самый суровый выговор. Но вот примерно через неделю курьер принес мне письмо, помеченное «Вскрыть лично». Это была короткая записка, написанная на бланках приказов Кальтенбруннера. В ней холодно сообщалось, что я буду привлечен к ответственности за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в невыполнении строгого приказа. Риббентропу же, видимо, нечего было сказать ни по этому поводу, ни по поводу важных политических событий, происходящих в Анкаре и Лондоне. Да, это был человек, который пальцем не шевельнет, чтобы помочь своему подчиненному в трудную минуту.

Что касается Цицерона, то и он неожиданно оказался в большой опасности. Очевидно, и в английском посольстве в Анкаре, и в Лондоне возникли подозрения. Правда, пока они ещё не повлекли за собой никаких конкретных действий.

Я не могу сказать, как, в конечном счете, повлияла беседа фон Папена с турецким министром иностранных дел на дальнейший ход операции «Цицерон». Но поскольку у англичан возникли подозрения, они приложили все усилия, чтобы выяснить, откуда германский посол получил секретные сведения.

Основная роль в этих усилиях принадлежала Элизабет – моему собственному секретарю. Но она приехала в Анкару значительно позже, лишь в начале нового года.

Около середины декабря наш пресс-атташе Сейлер поехал в Софию по одному официальному делу. Когда он находился там, американцы совершили свой первый воздушный налет на столицу Болгарии. Правда, этот налет был пока не очень сильным. Однако Сейлера поразило, что в городе не было никакой противовоздушной обороны для защиты населения Софии от

налетов вражеских бомбардировщиков.

Во время одного из таких налетов в бомбоубежище германской миссии Сейлер впервые встретил Элизабет и её родителей. Отец Элизабет, профессиональный дипломат старой школы, занимал ответственный пост в германской миссии в Софии.

Сама Элизабет выполняла секретарскую работу. Она очень плохо переносила воздушные налеты, и родители чувствовали, что её нервы вот-вот сдадут. Отец обожал её. Он спросил Сейлера, нельзя ли найти какую-нибудь работу для Элизабет либо в посольстве Анкары, либо в стамбульском консульстве. Его дочери, говорил он, необходимо отдохнуть в какой-нибудь нейтральной стране.

Вернувшись в Анкару, Сейлер рассказал мне об этом. Он знал, что мне срочно нужен второй секретарь, так как работы у меня значительно прибавилось, а Шнюрхен всё ещё могла печатать только одной рукой.

Элизабет была как будто именно такой девушкой, какую я искал, – дочь весьма уважаемого немецкого дипломата, сама имевшая некоторый опыт секретарской работы на дипломатической службе, прекрасный лингвист и, судя по её происхождению и воспитанию, вероятно, вполне надежный человек. Так как операция «Цицерон» продолжалась, все это имело первостепенное значение.

Я обсудил кандидатуру Элизабет с послом. Он ничего не имел против её перевода из Софии в Анкару. Фон Папен знал и уважал её отца и очень сочувственно отнесся к нервной девушке. Что касается начальника управления кадров министерства иностранных дел в Берлине, то и он не возражал. Единственным человеком, который мог бы воспрепятствовать переводу Элизабет, был Кальтенбруннер. Поскольку он был лично заинтересован в операции «Цицерон», приходилось советоваться с ним по всем вопросам, касающимся каких-либо изменений в составе моих помощников. Так как в получении его согласия произошла некоторая задержка, я написал ему длинное письмо, в котором доказывал, что не могу справиться с работой без дополнительной помощи.

В ответ на мою просьбу мне предложили прислать из Берлина секретаря-мужчину. Ясно, чего хотел Берлин, – приставить ко мне одного из осведомителей Кальтенбруннера, чтобы он шпионил за мной. Но мне это вовсе не улыбалось. Я хотел только иметь секретарем надежную девушку, умеющую печатать на машинке и прилично владеющую английским и французским языками.

То обстоятельство, что я был главным лицом, отвечающим за

проведение операции «Цицерон», очевидно, придавало мне значительный вес. В конце концов, я все-таки добился согласия Кальтенбруннера, и Элизабет, которую я никогда не видел, была переведена из Софии в Анкару.

Она приехала в первую неделю января. Я встречал её на вокзале. Мое первое впечатление от неё было крайне неблагоприятным. Она показалась мне просто ужасной женщиной. Теперь я понимаю, что тогда мне надо было прислушаться к голосу инстинкта и немедленно отправить её обратно в Софию. Если бы я поступил так, то избавил бы себя от массы неприятностей.

Мне кажется, я не принадлежу к числу очень разборчивых людей, но когда Элизабет вышла из вагона, её наружность произвела на меня отталкивающее впечатление. Это была очень светлая блондинка лет двадцати пяти, среднего роста, с длинными, сальными, неопрятными волосами. У неё были тусклые, ничего не выражающие глаза. Жирная кожа её лица имела нездоровый сероватый оттенок. Словом, внешность чрезвычайно непривлекательная.

Я постарался убедить себя, что её вид объясняется, вероятно, – продолжительным путешествием и переживаниями в Софии. И даже пожалел, что молодая девушка, которая, вероятно, могла бы быть хорошенькой, так опустилась. Я повез её в гостиницу, где заказал для неё комнату, а затем к себе домой. Моя жена уже приготовила для неё ужин.

Жену тоже поразила внешность Элизабет. Она предложила ей помыться в ванной, но девушка отказалась и села за стол, даже не вымыв рук. Элизабет очень мало говорила за едой, а го, что она сказала, было либо очень поверхностным, либо глупым, либо тем и другим вместе. По-видимому, она не собиралась хотя бы ради вежливости поддерживать обычную беседу. Нас раздражала её манера казаться важной, скучающей и искушенной жизненным опытом. Казалось, её совершенно не интересует этот чужой, новый город, построенный на голой равнине. Казалось, её вообще ничто не интересует. Насколько я мог видеть, с ней невозможно было установить хоть какой-то человеческий контакт. С того самого момента, когда я встретил ее, и до сих пор Элизабет продолжает оставаться для меня загадкой.

Даже Сейлер, первый рассказавший нам о ней, не мог её понять. В течение последующих нескольких недель он часто говорил мне, что Элизабет, какой она стала в Анкаре, кажется ему совсем не той девушкой, которую он знал в Софии. В чем причина этой внезапной перемены, я так никогда и не узнал.

На следующий день после своего приезда Элизабет заболела.

Единственный симптом болезни выражался в том, что у неё страшно распухло лицо. Я с трудом настоял на посещении её доктором, так как она упорно отказывалась от всякой медицинской помощи. Моя жена пошла навестить ее, но девушка осталась совершенно равнодушной к её посещению, апатичной и молчаливой. Эта молчаливость становилась просто невежливой. Через несколько дней, когда я сам навестил ее, я заметил на столике рядом с кроватью несколько коробочек со снотворным. Мне пришла в голову мысль, что, быть может, странное состояние девушки объясняется чрезмерным употреблением успокаивающих средств. Я сказал об атом доктору.

Теперь я понимаю, что мне не следовало вмешиваться в это дело. Элизабет не хотела уходить из гостиницы, но она не говорила по-турецки, а никто из слуг не знал ни одного другого языка. И я боялся, что за ней не было надлежащего ухода. Поэтому против её воли я убедил Элизабет переехать в дом друзей моей жены, которые были и моими друзьями. Здесь с Элизабет обращались, как с родной дочерью, но она продолжала оставаться неотзывчивой, раздражительной, а временами просто грубой.

– Наверное, она больна, – извиняясь за своего секретаря, сказал я её доброй хозяйке.

Всё это казалось очень странным. Дней через десять доктор сказал, что Элизабет достаточно поправилась и может приступить к работе. И вот она впервые появилась в моем кабинете. Для начала я дал ей самые простые поручения, главным образом переводы из французской и английской прессы. Ее переводы оказались совершенно неудовлетворительными: в них была масса ошибок и описок, да и внешне они выглядели весьма небрежно. Этого я уж никак не ожидал, так как она говорила по-английски и по-французски почти без акцента.

Мне кажется, я уже сумел достаточно ясно показать, что Элизабет стала для меня обузой, а не помощницей. Но поскольку я так настоятельно требовал её перевода из Софии, мне приходилось мириться с этим. Больше того, я всё ещё надеялся, что со временем она избавится от этого действительно невыносимого летаргического состояния и, возможно, перестанет быть такой неряшливой. Чтобы дать ей почувствовать мое доверие и таким образом ободрить ее, я время от времени поручал ей более важную работу, чем переводы из прессы. Конечно, я ничего не говорил Элизабет об операции «Цицерон», но старался пробудить у неё интерес к работе, обращаясь с ней не как с обыкновенной машинисткой, а как с секретарем, которому доверяют. Этим я совершил, как потом оказалось, ужасную

ошибку, но ведь известно, что легко судить обо всем здраво уже после того, как событие произошло. В то время я думал, что это полезно.

Я уже описал наружность Элизабет, когда она сошла с поезда в Анкаре. Я надеялся тогда, что, придя в себя после своего длительного путешествия и софийских воздушных налетов, она позаботится о своей внешности. Я ошибся. Она продолжала оставаться невероятно неряшливой, даже грязной. Как большинству мужчин, мне неприятно было ежедневно видеть перед собой плохо одетую, неопрятную женщину. Но я не знал, что делать, и ничего не предпринимал.

Наконец, однажды, когда я склонился над ней, рассматривая какие-то документы, лежавшие на её столе, я почувствовал неприятный запах её волос. Это уж было слишком, с этим я примириться не мог. И вот, когда она вышла из комнаты, я попросил моего верного друга Шнюрхен намекнуть Элизабет, конечно, как можно более тактично, что в Анкаре имеются прекрасные парикмахерские.

Очевидно, Элизабет поняла, от кого исходил намек. Она обиделась, но все же сходила в парикмахерскую. Вернувшись из нее, Элизабет преобразилась, и с тех пор, если не считать временных возвратов к прежнему состоянию, она, казалось, ударилась в противоположную крайность, тратя на свою наружность массу времени и денег. Все же она дала мне понять, что обижена моим вмешательством. В течение нескольких дней она совсем не разговаривала со мной.

Я слишком доверял Элизабет, и это было серьезной ошибкой, за которую мне пришлось потом расплачиваться. Еще более серьезной ошибкой было мое равнодушие к её личной жизни. Скоро я узнал, что у неё были какие-то дела с одним из двух немецких дезертиров, интернированных в Анкаре, – людей, которых я назвал Гансом и Фрицем. Теперь я не помню, который из них это был.

Всевозможные сплетни составляют неприятную, но неизбежную часть жизни небольшой группы людей, находящихся за границей. Я всегда ненавидел сплетни и старался не слушать их. Личная жизнь моего секретаря, казалось мне, была её делом и меня абсолютно не касалась. Осмелюсь утверждать, что теоретически я был прав. Будь я, к примеру, обычным дельцом, эта точка зрения не причинила бы мне никакого вреда. Но мне следовало бы помнить, что в сейфах обычных дельцов не часто хранятся документы, подобные тем, которые передавал нам Цицерон. Да, легко рассуждать об этом уже после того, как все произошло.

Спустя некоторое время Элизабет переехала из дома моих друзей на квартиру, которую она сама сняла в одном из многочисленных домов, сдающихся в наем. И опять, если бы я был немного более любопытным, я мог бы вовремя узнать, что комнаты, находившиеся над квартирой Элизабет, занимал один из служащих английского посольства.

Маленький камешек, падая, может вызвать обвал. Элизабет предстояло сыграть решающую роль в операции «Цицерон», роль, которая, с нашей точки зрения, оказалась губительной. Пожалуй, она никогда не была бы замешана в это дело и, во всяком случае, не сыграла бы такой крупной роли, если бы не возненавидела меня. Оглядываясь на все это теперь, я отчетливо представляю себе случай, который, очевидно, и заставил Элизабет возненавидеть меня. В тот момент и был стронут маленький камешек. Хотя она и была существом нервным, случай этот кажется мне слишком уж незначительным.

Однажды у меня в кабинете Элизабет писала под мою диктовку, причем сидела, закинув ногу на ногу, так что совсем открылись её красивые ноги. Откровенно говоря, это раздражало меня, нарушая ход моих мыслей и мешая диктовать. Прошло несколько минут. Наконец, проходя мимо нее, я остановился и, сделав какое-то шутливое замечание, слегка одернул её юбку. Элизабет страшно покраснела. Она ничего не сказала, но в тот же момент я понял, как она возненавидела меня.

# Глава восьмая

Ключи, сделанные в Берлине, прекрасно подходили к сейфу английского посла. Цицерон сказал мне, что теперь он может большую часть своей работы проделывать в отсутствие патрона. Зная это, всякий раз, когда я видел на улицах Анкары заметный темно-голубой «Роллс-ройс», я думал: «Что-то делает сейчас наш Цицерон?»

Он доставал много материала, но никогда больше не достигал таких результатов, как в декабре. Не помогали и ключи. На это имелась важная причина. Теперь Цицерону приходилось действовать в английском посольстве в гораздо более трудных условиях, чем прежде.

Он, конечно, ничего не знал о разговоре фон Папена с Нуманом Менеменджоглу и о последовавшей затем беседе турецкого министра иностранных дел с сэром Нэтчбуллом-Хьюгессеном. Не мог он также иметь сведений относительно бурной реакции Уайтхолла на эту беседу. Но зато он видел практические результаты – англичане немедленно усилили меры по сохранению секретности.

В середине января, как сказал мне Цицерон, в английское посольство из Лондона начали прибывать различные люди, очевидно, с секретными поручениями. Я не сомневался, что они должны были проверить, как хранятся секретные документы. По-видимому, английские власти подозревали, что утечка была где-то внутри посольства. Каждый сейф теперь снабдили специальными приборами, вызывающими тревогу при прикосновении к сейфам. За запертыми дверями и занавешенными окнами английского посольства усиленно шла какая-то в высшей степени секретная работа.

Для Цицерона это было крайне опасно. Будь он умнее, он удовлетворился бы тем, что уже сделал, и немедленно прекратил бы всю эту работу. Тогда Цицерон ещё мог выйти сухим из воды. Он получил от меня уже свыше двухсот тысяч фунтов стерлингов – сумма, вполне достаточная для того, чтобы прожить остаток своей жизни в роскоши, о которой он так мечтал.

Но не таков был Цицерон. Мне кажется, с его стороны это была не столько жадность (хотя, конечно, пачки банкнот по десять тысяч фунтов стерлингов в обмен на несколько фотографий очень его привлекали), сколько чувство власти, которым он упивался. Впрочем, несомненно, деньги тоже играли не последнюю роль.

Очень важной датой в операции «Цицерон» было 14 января

1944 года. В этот день всякие сомнения в подлинности документов, которые мог ещё испытывать Берлин, были раз и навсегда рассеяны самым ужасным образом. Выполняя работу, подобную моей, человек склонен забывать, что на карту поставлена жизнь многих людей. 14 января против моей воли мне об этом напомнили.

Среди документов, полученных от Цицерона в декабре, были копии протоколов о переговорах военных представителей на Тегеранской конференции. Там было решено начать усиленные бомбардировки столиц балканских стран – союзников Германии – Венгрии, Румынии и Болгарии. Первой в списке стояла София, налет на которую должен был произойти 14 января. Благодаря Цицерону, Берлин и германские власти в Софии знали о налете ещё за две недели до дня бомбардировки.

Берлин сообщил мне, что если этот налет произойдет, будет окончательно доказана достоверность документов Цицерона. Риббентропа и Кальтенбруннера могла убедить лишь гибель тысяч ни в чем неповинных людей. В этот день мое состояние было ужасным: зная, что должно случиться, я не мог предотвратить этого. Уж я-то не сомневался, что документы Цицерона говорили правду и налет обязательно произойдет.

Поздно вечером 14 ноября я позвонил в германскую миссию в Софии. Больше ждать было невыносимо, я должен был знать, что там происходит.

– Связь с Софией прервана, – ответила телефонистка анкарской телефонной станции.

Лишь рано утром 15 января мне удалось, наконец, связаться с Софией. Я разговаривал с сотрудником нашей миссии, и он сказал:

– На нас только что был совершен ужасный воздушный налет. Весь город горит. Очень много жертв.

Удовлетворен ли Берлин? Ведь теперь-то у них было доказательство, что Цицерон их не обманывает. Четыре тысячи болгар – мужчин, женщин и детей – поплатились за это своей жизнью.

В начале февраля Цицерон снова начал активно действовать. В течение двух недель он не отваживался дотронуться до сейфа – сначала ему нужно было выведать, как действуют установленные недавно приспособления.

– Мне потребовалось много времени, чтобы узнать это, – говорил он мне. – Но даже потратив так много времени, я мог бы ничего не добиться, если бы мне не повезло. Случилось так, что во время разговора посла с одним из экспертов по безопасности, присланным из Лондона, я находился в соседней комнате. Из

подслушанного разговора я понял, как действуют новые приспособления.

В тот момент я не стал напоминать ему, что раньше он отрицал свое знание английского языка. Правда, я никогда и не верил этому. Если он, подслушивая у двери, понимал разговор, который носил сугубо технический характер, значит, он владеет английским языком не хуже, чем я всегда подозревал.

Я не сообщил об этом в Берлин. Ничего хорошего из моего донесения все равно не вышло бы, и оно только доставило бы мне ещё больше хлопот. Из Берлина в Анкару, вероятно, прислали бы ещё одного специалиста, на этот раз, возможно, владеющего английским языком психолога с портфелем, набитым инструкциями о том, как установить истину.

Через несколько дней Цицерон сказал мне, что сейф посла наглухо закрылся и не открывается. Очевидно, что-то случилось с новыми приспособлениями. Англичане послали в Лондон за специалистами и инструментами, которые были доставлены из Англии на самолете, и, наконец, сейф был снова открыт. По словам Цицерона, ему удалось присутствовать при этом и, таким образом, увидеть, как действуют новые приспособления.

Этот рассказ показался мне совершенно невероятным, однако в устах Цицерона он звучал вполне правдоподобно. Цицерон имел наглость попытаться стать рядом, когда чинили сейф. Но я просто не мог поверить, что ему позволили это сделать. Конечно, его должны были попросить выйти из комнаты, пока чинили сейф. Английские чиновники не дураки, а английская система безопасности действовала прекрасно. Поэтому нельзя было не усомниться в рассказе Цицерона. Больше того, я должен был поверить Цицерону, что все эти, как он утверждал, сложные приспособления были установлены при нем. Зная, как возбуждено было подозрение англичан отличной осведомленностью германского посла, логичнее было бы предположить, что они должны ещё туже завинтить гайки, усилив меры по сохранению секретности.

Цицерон очень много рассказывал мне об этих сложных новых приспособлениях, в которых использовались электромагнитные приборы, инфракрасные лучи и так далее. Я думаю, что он старался этим ещё больше подчеркнуть свою находчивость, и многое просто-напросто сочинил.

Очевидно, он рассчитывал снова повысить выплачиваемую ему сумму. И действительно, вскоре он заявил, что работа стала теперь настолько трудной и опасной, что он должен получать, по крайней мере, вдвое больше, чем теперь. За каждую катушку фотопленки он требовал двадцать тысяч фунтов стерлингов при

условии, что в каждой катушке минимум пятнадцать снимков. Я не согласился, и мы оставили прежнюю цену.

Только теперь я понял, почему Цицерон лгал относительно своего знания английского языка. Он не знает почти ни слова по-английски, постоянно твердил мне Цицерон, а потому не может сам судить о том, насколько важны фотографируемые им документы. Поскольку в таком случае он не мог гарантировать доставку нам лишь очень важного материала, мы должны были бы платить ему за все фотопленки, даже если некоторые из них не представляли никакого интереса для Берлина. Но вплоть до февраля Цицерон ещё ни разу не приносил нам таких документов. С самого начала его работы и особенно в декабре почти все, сфотографированное им, было чрезвычайно ценным материалом. Но теперь ему пришлось столкнуться с трудностями, которых он не испытывал раньше. Он не имел больше свободного доступа к секретным документам и поэтому решил прибегнуть к трюку, который детально разработал уже давно. Он не понимал, что я никогда не верил его словам о незнании им английского языка и что он выдал себя с головой, рассказав мне о подслушанном разговоре.

Однажды он принес мне катушку фотопленки, в которой снимков было значительно больше, чем пятнадцать. Проявив и увеличив их, я обнаружил очень длинный и, кстати, неполный список мелких расходов по английскому посольству. Даже если бы он был полным, он все равно не представлял бы для нас никакой ценности. Больше того, я считал совершенно невероятным, чтобы посол стал держать такие бумаги в своем личном сейфе. За эти фотопленки Цицерон потребовал свои обычные десять тысяч фунтов стерлингов.

Я отказался платить за такую чепуху. Но Цицерон настаивал, ссылаясь на то, что он не понимает английского языка и поэтому не может судить, насколько важны те или иные документы.

Я прекрасно понимал его. Не имея возможности сфотографировать даже не особенно важные документы, он снял совершенно ненужный материал, надеясь, что и его возьмут. Если возьмут, он будет продолжать действовать в том же духе до тех пор, пока снова получит доступ к сейфу посла. А это могло длиться бесконечно.

В конце концов я ответил Цицерону, что должен буду передать его материал на рассмотрение Берлина. Я уже и без того был в немилости и не хотел, чтобы меня обвинили ещё в разбазаривании государственных средств на всякую ерунду. Итак, я отослал в Берлин фотопленку и отпечатанные снимки с сопроводительным письмом, в котором объяснил, почему я

отказался заплатить за них.

Ответ Берлина, полученный со следующим курьером, крайне удивил меня. Мне было в категорической форме приказано уплатить Цицерону причитающиеся ему десять тысяч фунтов стерлингов и сообщалось, что эта пленка содержит очень ценные сведения.

Когда я передал Цицерону деньги, он широко улыбнулся. Теперь я уже достаточно хорошо знал его и без колебаний сказал, что я не согласен с Берлином и прекрасно понимаю, какую игру он ведет.

Он пожал плечами и ответил, что в дальнейшем постарается выбирать лишь такие документы, которые помечены «Совершенно секретно» или «Секретно», – на это его познаний в английском языке хватит.

В дальнейшем мы часто говорили с ним по-английски, причем английский он знал гораздо лучше, чем французский. Что же касается списка мелких расходов по английскому посольству, я всё ещё не мог понять, почему Берлин придал ему такое значение.

В конце января я на несколько дней уехал в Бруссу. Это был мой первый отпуск со времени прибытия в Турцию, и я чувствовал, что вполне заслужил его. По крайней мере на неделю я хотел забыть о Цицероне.

Брусса – очень красивый городок, один из самых старых в Турции. Это знаменитый курорт с минеральными водами. Он особенно хорош в то время года, когда в воздухе уже чувствуется запах весны. Ярко светило солнце, вдали поднималась острая вершина Улудага, всё ещё покрытая снегом. Я заранее предвкушал удовольствие спокойно пожить недельку в таком очаровательном месте. Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Не успел я прожить там и одного дня, как телефонный звонок из Анкары положил конец моему отдыху.

Из стамбульского консульства исчез один сотрудник. Было почти наверняка известно, что он дезертировал к англичанам. Поскольку он оказался моим знакомым, а начальник отдела, в котором он работал, был моим хорошим другом, мне приказали немедленно возвратиться в Анкару. Возник также вопрос, не отразится ли это дезертирство на моей собственной работе. Мой отдел находился в тесном контакте со стамбульским консульством. Очень расстроенный, я вернулся в Анкару в тот же вечер. Это дезертирство, первое из последовавшей за ним целой серии, вызвало переполох. Дезертир был совсем молодым человеком, находившимся под сильным влиянием своей жены, которая была на много лет старше его. Он занимал видное

положение в германской военной разведке и забрал с собой документы, чрезвычайно ценные для врагов Германии в Турции. Все это грозило большими неприятностями для моего друга – начальника отдела, в котором работал дезертир. Мой друг, конечно, не подозревал, что его помощник, которому он так доверял, мог замышлять что-либо подобное, но теперь на него возлагали известную долю ответственности за происшедшее. Его будущее в течение долгого времени висело на волоске, хотя сам он был способным и добросовестным работником.

Вскоре после этого произошел второй случай дезертирства, а ещё через несколько дней – третий.

Элизабет, обычно такая молчаливая и апатичная, совершенно преобразилась, когда началось все это. Она заявила, что не представляет себе, как может немец перейти на сторону врага в то время, когда его страна ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. По её мнению, это самое большое преступление, какое только может совершить человек.

Я был несколько поражен её страстностью. Конечно, я ни в малейшей степени не подозревал, что она может оказаться шпионкой, а просто было очень странно видеть возбужденную чем бы то ни было Элизабет.

Эти признаки постепенного преодоления обычного равнодушия, должен сказать, были мне приятны. Под влиянием последних сенсационных событий моя помощница стала разговорчивой. Однажды Элизабет рассказала мне о своих двух братьях-офицерах, которые находились на фронте. Наконец, она заговорила о долге каждого гражданина помогать солдатам, день и ночь рискующим жизнью ради фюрера и родины. Эта маленькая речь Элизабет могла бы быть прекрасной передовицей в одной из газет доктора Геббельса. Несомненно, оттуда она и заимствовала ее.

Такого рода высказывания не производили на нас большого впечатления. Я лично был доволен оживлением Элизабет, хотя оно и выражалось в повторении общеизвестной пропаганды. Я видел в этом поворот к лучшему.

Элизабет стала принимать приглашения на вечера, чего она раньше никогда не делала. Иногда она смеялась, что тоже было новостью; раз или два она даже сама отпустила какую-то шутку. В её глазах, обычно таких тусклых, теперь появлялись живые искорки. Казалось, начали оправдываться мои надежды завоевать её доверие. Иногда она приходила к нам домой. Я добился и того, что мои коллеги тоже стали приглашать её к себе.

Нелегко было заставить девушку почувствовать, что она нам нравится и что она наша.

Тем не менее в ней всегда было что-то странное. Трудно было не раздражаться, когда она вдруг начинала вести себя так, как будто ей решительно все надоело. На вечерах я часто наблюдал, как группа весело болтающих людей вдруг умолкала при приближении Элизабет. Она была именно тем человеком, который способен испортить настроение людям. Все же, казалось, она исправляется.

Однажды между нами произошла короткая беседа, которая, хотя я и не придал ей тогда никакого значения, теперь, когда я оглядываюсь назад, кажется мне знаменательной.

Мы были одни в моем кабинете. Я писал доклад, а она переводила статью из газеты «Таймс». Вдруг она подняла голову и сказала:

– Как вы думаете, Германия всё ещё может выиграть войну?

– Конечно, – ответил я довольно резко, так как не люблю, чтобы во время работы меня прерывали посторонними разговорами.

– Почему вы так думаете? Положение на всех фронтах кажется очень серьезным, не так ли?

Я отодвинул бумагу и карандаш в сторону и посмотрел на нее.

– Да, положение действительно очень серьезное. И я, живя в середине двадцатого столетия, не верю в чудеса. Я согласен с тем, что теоретически война проиграна, учитывая огромное количество американских военных материалов и людские ресурсы русских. Но военные материалы и людские ресурсы ещё не все. Есть ещё политика и дипломатия. Война бывает окончательно проиграна лишь в тех случаях, если стране будет нанесено поражение и в этих областях.

– А что, если это случится?

– Тогда будем считать, что такова воля божья. В таком случае мы ничего не сможем сделать.

– Но разве нет выхода из создавшегося положения?

– Не для отдельных людей. По крайней мере, я не нахожу такого выхода. Это можно сравнить с поездом, мчащимся на всех парах к гибели, в то время как все мы сидим в этом поезде. Человек имеет столько же шансов сломать себе шею, пытаясь выпрыгнуть из поезда, сколько и оставаясь в поезде. Это в том случае, если бы мы мчались к гибели.

– А как насчет экстренного тормоза? Элизабет смотрела мне прямо в лицо – этого она никогда не делала раньше. Я не мог понять, чего она добивается.

– То, что вы предлагаете, – ответил я, – равносильно попытке остановить колесо истории. Я лично никогда не стал бы этого

делать, если бы это было лишь в моих собственных интересах.

Ответ был не особенно удачным, но он, кажется, положил конец нашей беседе. Элизабет снова занялась своей работой, а я стал задумчиво смотреть в окно. Вдруг она спросила:

– Что вы думаете о стамбульских дезертирах?

– Я их не одобряю – они слишком поздно выпрыгнули из поезда. Если человек все эти годы находился на одной стороне или, по крайней мере, не был против нее, ему не следовало бы теперь переходить на другую сторону. Это оставляет нехороший осадок. Я могу уважать человека, который всегда был против нас или который ушел от нас ещё до того, как наше поражение стало очевидным или вероятным. Но сделать это теперь кажется мне недостойным поступком, чтобы не сказать больше. Я не представляю себе, какими мотивами руководствовались эти дезертиры.

– Подобные же случаи были в Стокгольме и Мадриде, не так ли?

– Да, я слышал об этом.

– Не слишком ли много развелось сейчас немцев, которые оказываются предателями? Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что может быть настоящей причиной этого?

– Да, я думал об этом. По-моему, обычно люди настолько возмущаются самим актом измены, что никогда не задумываются над его причинами. Как вы говорите, теперь это становится обычным явлением. Если бы вожди германского государства понимали эти причины, они, может быть, постарались бы ликвидировать их последствия. Но мы, немцы, никогда ведь не были хорошими психологами.

Кивком головы Элизабет выразила свое согласие. По-видимому, она о чем-то глубоко задумалась.

Прошло много времени, прежде чем я вспомнил об этом разговоре. Между тем, уже на следующее утро Элизабет снова удивила меня.

Придя в кабинет, я увидел, что она сидит нагнувшись над своим письменным столом и плачет навзрыд. Как можно более деликатно я спросил ее, в чем дело. Она не ответила, продолжая истерично рыдать.

Я ничего не мог с ней поделать. Шнюрхен, которая пришла немного позже, сумела несколько успокоить девушку. Элизабет так никогда и не сказала ни мне, ни Шнюрхен о причине этих слез. Я предложил ей хорошенько отдохнуть дома и не возвращаться до тех пор, пока она не почувствует себя лучше.

Она молча ушла, но после полудня вернулась. Пробормотав несколько слов извинения, Элизабет стала продолжать

неоконченный перевод, лежавший на её письменном столе. Перевод был выполнен очень плохо: в нем было много опечаток и других ошибок. Я исправил их, не сказав ни единого слова упрека. По правде говоря, я боялся вызвать новый приступ истерики.

Целый день я не спускал глаз с Элизабет, так как видел, что ей не по себе. Иногда она по нескольку минут, не отрываясь, смотрела в окно и тяжело вздыхала. Я заметил, что раз или два она взяла французский словарь, хотя переводила с английского, и при этом не сразу заметила свою ошибку.

Однако на следующий день Элизабет казалась вполне отдохнувшей и даже более беззаботной и оживленной, чем когда-либо. Трудно было поверить, что эта же самая девушка двадцать четыре часа назад так безутешно рыдала.

Когда Элизабет вышла из комнаты, я высказал Шнюрхен предположение, что тут может быть замешана какая-нибудь любовная история, но Шнюрхен не согласилась со мной.

Однажды – это было в марте – Шнюрхен заболела гриппом. Она очень редко болела, и это было тем досаднее, что случилось как раз тогда, когда у меня была масса дел. Теперь со мной осталась одна Элизабет. Правда, Элизабет делала все, чтобы выручить меня. Она работала очень много и гораздо добросовестнее, чем обычно. Было совершенно очевидно, что она старалась выполнять всю дополнительную работу, значительная часть которой была ей незнакома.

Самым тяжелым бывал у нас день накануне отправления в Берлин курьерского самолета, когда приходилось работать обычно до глубокой ночи, чтобы подготовить всю почту к полудню следующего дня. В конце одного из таких хлопотливых дней, когда я кончил диктовать Элизабет, она, без всякого напоминания с моей стороны, сама изъявила желание остаться работать и закончить все, чтобы утром не надо было торопиться. Я одобрил её желание и пошел домой, впервые оставив ей ключ от сейфа. Я очень устал и сразу же лег спать, но не мог уснуть. Около полуночи я начал волноваться, что оставил Элизабет ключ. Я вовсе не подозревал её в чем-либо – такая мысль даже не приходила мне в голову. Я просто боялся, что по легкомыслию она могла забыть запереть как следует сейф или потерять ключ по пути домой.

Не было смысла лежать так и мучиться. Я встал, оделся и поехал в посольство. В моем кабинете всё ещё горел свет. Тяжелые гардины не были опущены, и на фоне занавески я мог видеть тень Элизабет, которая двигалась по комнате.

Когда я вошел в комнату, Элизабет сидела за машинкой.

Увидев меня, она вскочила с места.

– Вам давно пора быть в постели, Элизабет. Ничего, если вы не успели закончить работу. Ведь завтра у нас ещё целое утро.

– Но я предпочитаю работать ночью, и я нисколько не устала, – сказала она.

У меня не было никакого желания вступать с ней в спор. Я настоял на том, чтобы она немедленно прекратила работу. Она неохотно встала со своего места. Ключ был в сейфе, и когда все было положено в сейф, я запер его, а ключ положил в карман.

Элизабет взглянула мне прямо в глаза; тень печали прошла по её лицу.

– Вы не доверяете мне? Вы ведь разрешаете вашему другому секретарю хранить у себя ключ.

– Если бы я не доверял вам, я бы не оставил его раньше. Я беру его с собой сейчас просто потому, что беспокоюсь, когда его нет при мне, а я хочу поспать эту ночь спокойно.

Она опять повторила, что я не доверяю ей. Две крупных слезы скатились по её щекам. У неё было такое выражение глаз, какое бывает у собаки, которую побили ни за что. Я почувствовал, что поступаю жестоко, но промолчал. Она тоже ничего не сказала, и мы молча подошли к моему автомобилю. Я предложил отвезти её домой, но она отказалась.

В последующие несколько дней никаких событий не произошло. Я не мог пожаловаться на поведение Элизабет. Однажды, во время обеденного перерыва, она вошла в мой кабинет, держа в руке два письма. Она сказала, что это письма от её брата, находящегося на Восточном фронте. Казалось, она очень любила этого брата и всегда была счастлива, когда получала от него известия. Не хочу ли я прочитать их?

Я никогда не имел особого желания читать чужие письма, но мне не хотелось обижать ее. Кроме того, всегда была опасность, что она снова может устроить мне истерику.

Я начал читать довольно неохотно, но прочитав несколько строк, сильно заинтересовался содержанием письма. Должно быть, её брат был интересным человеком и знал, как писать. Большинство солдатских писем неинтересны, написаны топорным языком. Некоторые из них наполнены сентиментальной ура-патриотической чепухой. В этом же письме я не нашел ни того, ни другого. Это было простое излияние чувств честного молодого человека, который старался как можно лучше выполнить свой долг и которого глубоко тревожила судьба своей страны, своего народа и своего дома.

Я был искренне тронут, хотя и чувствовал себя довольно неловко в присутствии Элизабет. Она села напротив меня,

устремив на меня свои большие, светлые глаза. Казалось, она хотела прочитать мои самые сокровенные мысли. Я не мог понять, почему она дала мне письма своего брата. Прочитав эти письма, я с благодарностью вернул их Элизабет. Через несколько минут она облокотилась на свою пишущую машинку, горько рыдая. Эти внезапные приступы слез и истерики повторялись очень часто. В перерывах между ними Элизабет выглядела беспричинно оживленной и неестественной.

Я так и не смог понять, что с ней такое творится. Как бы то ни было, это страшно мешало моей работе. Наконец, я решил пойти к послу и рассказать ему обо всем. Так или иначе, я должен был избавиться от Элизабет и попросил его помочь мне.

Надо сказать, фон Папен вовсе не был в восторге от этой просьбы. Он напомнил мне, что я сам требовал её перевода в Анкару и был причиной всех тех сложных махинаций, к которым пришлось тогда прибегнуть. Если Элизабет никуда не годится, то мне надо пенять лишь на самого себя.

– Я вполне согласен с вами, господин посол, – сказал я, – и никогда не посмел бы беспокоить вас по этому поводу, если бы не операция «Цицерон». Поскольку я несу за неё полную ответственность, я не должен допускать, чтобы в моем отделе работала такая глупая и истеричная девушка. С женщинами, подобными Элизабет, трудно сработаться, – ведь совершенно невозможно предугадать, какой номер они выкинут в дальнейшем. Я уверен, что сама девушка для нас ничего опасного не представляет, но, учитывая её теперешнее состояние, мы не можем оставлять её в моём отделе.

Посол задумался.

– Что мы можем сделать? – сказал он, рассеянно рисуя кружочки на промокательной бумаге. – Если я сообщу в Берлин, что она не справляется с работой, её отправят в Германию и пошлют на военный завод. Откровенно говоря, мне не хотелось бы доводить до этого, хотя бы ради её отца. Самой девушке это тоже сулит мало хорошего и, пожалуй, для неё было бы равносильно гибели. Мне кажется, лучше всего будет, если я напишу письмо её отцу, расскажу об её состоянии и попрошу его приехать и забрать дочь обратно. В Берлин мы могли бы сообщить, что она заболела и уехала лечиться. Судя по вашим словам, это будет недалеко от истины.

Я был в восторге от такого чисто дипломатического решения вопроса. Следующим курьерским самолетом фон Папен отправил письмо отцу Элизабет. Она, конечно, об этом ничего не знала. У меня же гора свалилась с плеч.

Между тем, я уже гораздо реже виделся с Цицероном, хотя

время от времени он приносил документы. Часть материала всё ещё представляла большой интерес, но в целом это было уже далеко не то, что прежде. Когда англичане усилили меры по сохранению секретности, важные документы хранились в сейфе посла, вероятно, лишь в течение такого промежутка времени, когда они были нужны ему. Поэтому Цицерон теперь ещё больше зависел от счастливого случая, чем раньше.

Но даже при таких обстоятельствах ему удалось в это время сделать важное дело. В течение нескольких недель мы замечали, что во многих недавно доставленных документах содержатся намеки на нечто совершенно секретное, казавшееся очень важной операцией. Однажды я случайно натолкнулся на новое зашифрованное название «Операция Оверлорд». Я ломал себе голову над тем, что могло бы означать слово «Оверлорд», но все мои попытки оказались безуспешными. В течение долгого времени мы не имели об этом никаких сведений. Берлин тоже не мог ничего придумать. Я убедился в этом после получения директивы, разосланной большинству посольств и миссий. Всем нам давалось указание любой ценой срочно добиться расшифровки таинственного названия. Это распоряжение было в духе многих других, которые нам присылали из Берлина, – мы не видели, каким образом его можно было выполнить.

Я сказал Цицерону, что если он когда-либо услышит в английском посольстве слово «Оверлорд», то он должен постараться запомнить его значение и немедленно сообщить мне. Казалось, его это совершенно не интересовало. Как всегда, ему было бесполезно отдавать какие-либо приказания.

В течение некоторого времени мне не удавалось найти никаких нитей, ведущих к раскрытию сущности операции «Оверлорд». Вероятно, она представляет собою что-то совершенно новое и, кажется, имеет огромное значение. Судя по материалам, доставляемым Цицероном, операция носила скорее военный, чем политический характер.

Однажды мне припомнилось интересное место в одном из документов, принесенных Цицероном. Я быстро нашел его в своей папке. Это была телеграмма из Лондона английскому послу в Анкаре, в которой Лондон настаивал, чтобы англо-турецкие переговоры были закончены к 15 мая или ещё раньше. Должно быть, они имели какое-то отношение к операции «Оверлорд».

В документах, переданных нам Цицероном, были также и другие интересные места, например, выдержки из протоколов Московской и Тегеранской конференций. Черчилль под влиянием значительного нажима со стороны Кремля обязался в 1944 году открыть в Европе второй фронт.

Наконец, судя по самому названию операции «Оверлорд»,[7] западные союзники планировали её как одну из решающих во второй мировой войне.

Теперь я был вполне уверен, что нашел ответ на мучивший меня вопрос. «Операция Оверлорд» была условным названием второго фронта.

Я немедленно послал в Берлин донесение, подробно изложив свою точку зрения и мотивы, которыми я руководствовался. Через неделю я получил лаконичный ответ: «Возможно, но маловероятно».

Итак, окончательное подтверждение настоящего значения этого таинственного зашифрованного слова Германия получила лишь 6 июня 1944 года, когда рано утром у берегов Нормандии появилась англо-американская армада.

Было весьма странно, что и к последним бесценным сведениям, доставленным нам Цицероном, в Берлине отнеслись с таким же равнодушием, как и ко всем остальным.

Я говорю «последним», так как документы, переданные в начале марта и содержащие намеки на операцию «Оверлорд», были действительно последними. Больше Цицерон нам ничего не принес.

Трудно решить, удовлетворил ли он свою жажду денег или, скорее, работа стала слишком опасной. Он никогда не сказал мне об этом, хотя и не заявил определенно, что все уже кончено. Едва ли Цицерон хотел прекратить эту работу. Он обещал принести нам новые пленки, и я был уверен, что он действительно собирается это сделать. Однако ему больше не представилось случая сфотографировать секретные документы англичан.

Я видел Цицерона несколько раз после того, как он принес мне последние фотопленки. Он пришел ко мне несколько дней спустя за причитавшимися ему деньгами. И даже после этого я снова встречался с ним. В последний раз это было всего за несколько дней до ужасного 6 апреля, в который, как я представляю себе, решилась и его и моя судьба. Приблизительно в это время я послал в Берлин финансовый отчет об операции «Цицерон».

Всего Цицерон получил от меня триста тысяч фунтов стерлингов.

# Глава девятая

Рано или поздно это должно было случиться. К концу марта Элизабет узнала об операции «Цицерон». Я находился по делам в Стамбуле, когда из Берлина в Анкару прибыла дипломатическая почта. Поскольку Шнюрхен ещё не вышла на работу, корреспонденцию, присланную на мой отдел, вскрыла Элизабет. Обычно все письма, связанные с операцией «Цицерон», приходили в специальном конверте, адресованном мне и помеченном: «Совершенно секретно. Вскрыть лично».

Но – странное совпадение – на этот раз чиновник, отправлявший почту из Берлина, забыл положить её в специальный конверт. В результате Элизабет вскрыла корреспонденцию и прочла ее.

Когда я вернулся в Анкару, она передала мне все письма. Элизабет была вполне права, вскрыв корреспонденцию, поскольку я не давал ей указаний не делать этого. Тем не менее я испытывал смутное беспокойство. Моя тревога возросла, когда она, с невинным видом вдруг спросила меня:

– Кто такой Цицерон?

Я не ответил ей, притворившись, что поглощён работой и не слышу. Она повторила свой вопрос.

– Послушайте, – сказал я, видя, что не могу увильнуть от ответа, – есть такие дела, о которых должен знать я один. Это одно из таких дел. Пожалуйста, не задавайте мне больше вопросов, потому что я не смогу ответить на них.

– Какой вы грубиян! – сказала она с лукавой улыбкой. – Неужели вы никогда не научитесь доверять малютке Эльзе?

– Нет, никогда, – ответил я, смеясь. Я был рад, что она превратила все в шутку, и сам постарался ответить в таком же тоне.

Понятно, с каким напряженным вниманием читал я депешу. Небрежность берлинского чиновника оказалась особенно досадной, так как из этого письма каждый мог понять, что операция «Цицерон» связана с чем-то происходящим внутри английского посольства. Мне это совсем не нравилось. Тем не менее, мне не приходило в голову подозревать, что Элизабет, дочь весьма уважаемого немецкого дипломата, может оказаться шпионкой.

Правда, она мне не нравилась, а её истеричность внушала отвращение, и я хотел как можно скорее избавиться от нее. Но считать Элизабет возможным агентом врага было совершенно немыслимо. Ее глупые вопросы можно объяснить скорее всего

чисто женским любопытством. Так думал я, по крайней мере, в тот момент. Часа через два я совсем забыл об этом случае.

Через несколько дней я повез Элизабет на своей машине в город. Она хотела купить какие-то вещи. Когда мы подъехали к улице, на которой находятся лучшие магазины Анкары, Элизабет попросила меня сопровождать ее, пока она будет покупать себе белье. В городе был только один такой магазин. Мне не хотелось идти с ней, но Элизабет не умела говорить по-турецки, и нужно было помочь ей сделать покупки. Не желая обидеть её и помня, что через несколько дней она уедет, я пошел с ней.

Она оказалась весьма капризной покупательницей. Несчастный продавец выложил перед ней целую гору материалов, но Элизабет никак не могла выбрать, что ей нужно. Она всё ещё стояла у прилавка, когда висевший у двери звонок, звякнув, заставил меня обернуться. Вошел ещё один покупатель. Это был Цицерон.

Конечно, я сделал вид, что не знаю его. Сначала он встал позади меня, потом рядом с Элизабет. Он тоже вел себя так, как будто никогда в жизни не видел меня.

Он заказал рубашки, очень дорогие шелковые рубашки. Помню, я подумал, как глупо с его стороны обнаруживать таким образом свое богатство: такое детское хвастовство может привести его к гибели.

Цицерон уже сделал свой заказ, а Элизабет до сих пор ничего не выбрала. Мое знание турецкого языка было весьма ограниченным, и поэтому я испытывал затруднения, объясняя продавцу, что именно ей нужно.

Цицерон, прекрасно говоривший по-турецки, предложил свои услуги в качестве переводчика. Он переводил довольно искусно и вообще был исключительно галантен; разговор с Элизабет шел на французском языке. Я не принимал в нем участия и, по правде говоря, чувствовал себя очень неловко. Зато Цицерону все это, казалось, доставляло большое удовольствие.

В конце концов Элизабет захотела, чтобы ей сшили белье по заказу. Цицерон стоял рядом с ней. Один за другим он брал с прилавка куски тонкой материи и прикладывал их к себе, словно был манекеном. Должен сказать, что при этом он выглядел очень забавным. Элизабет смеялась, и, казалось, им было очень хорошо вместе. Они улыбались и шутили, как будто были давным-давно знакомы. Когда Элизабет выбрала, наконец, материал и продавщица стала снимать с неё мерку, от смущения она немного покраснела. Цицерон, как настоящий джентльмен, смотрел в другую сторону.

Затем он поинтересовался, не немка ли она, а когда она

ответила утвердительно, вежливо спросил, нравится ли ей жизнь в Анкаре.

– Очень, – ответила она с улыбкой.

Я держался в стороне, внимательно прислушиваясь к их разговору. Оба они, казалось, совсем забыли о моем существовании.

Цицерон, заплатив за свои рубашки из огромной пачки банкнот, среди которых я заметил много десятифунтовых, вышел из магазина раньше нас. Уходя, он подчеркнуто вежливо раскланялся с Элизабет. Потом, когда никто не смотрел на нас, он понимающе подмигнул мне и многозначительно улыбнулся.

Ни он, ни я не подозревали, что через несколько дней Элизабет суждено будет решить судьбу нас обоих. А она, конечно, не представляла, что этот пожилой, дружески расположенный к ней человек и есть тот самый Цицерон, о котором она спрашивала меня.

Насколько мне известно, это была единственная встреча Цицерона и Элизабет.

Наконец, фон Папен получил ответ от отца Элизабет. Задержка объяснялась тем, что его неожиданно перевели в Будапешт. Кроме того, у него серьезно заболела жена. По этим причинам он мог забрать дочь только после пасхи. Извинившись за промедление с ответом, он благодарил посла за заботу о дочери и выражал глубокое беспокойство об её здоровье.

Я был в восторге, что после пасхи избавлюсь от Элизабет. Ждать оставалось недолго. К тому же она стала вести себя гораздо лучше: начала следить за своей внешностью, стала более уравновешенной, чем прежде, а по временам даже жизнерадостной. Но иногда Элизабет, задумавшись, останавливала на мне какой-то странный, пристальный взгляд, и я чувствовал, что она хочет, но не решается спросить меня о чем-то.

Один незначительный случай должен был бы навести меня на правильную мысль, однако в то время я не придал ему значения.

Было прекрасное весеннее утро. Работы было мало, и Элизабет, воспользовавшись этим, вежливо попросила меня уделить несколько минут её другу-летчику, человеку, которого я назвал Гансом. Она сказала, что он ищет работу. Он не очень заинтересован в заработке, хотя, конечно, деньги, полученные сверх скудного пособия, которое выделяет ему посольство, были бы не лишними. В основном же Гансу хотелось иметь какое-нибудь постоянное занятие, так как ему надоело бездельничать. Не могу ли я найти для него какую-нибудь работу в своем отделе? Или, если это невозможно, не пожелаю ли я взять его в

качестве шофера?

Очевидно, она очень хотела помочь молодому человеку, и, конечно, я вспомнил сплетню о её связи с одним из летчиков. Я согласился поговорить с ним.

На следующий день оба летчика пришли ко мне на службу. Это был первый случай, когда я разговаривал с ними, хотя видел их раньше. Они скромно, даже несколько застенчиво сели и закурили сигареты, которые я предложил им. Разглагольствуя об отечестве, о долге солдата и своем желании вернуться на фронт и сражаться за фюрера, они отняли у меня массу времени. К сожалению, они были интернированы и к тому же дали слово послу, иначе они давно бы уже бежали из Турции, уверяли они.

Наконец, они заговорили о деле и спросили меня, не могу ли я дать им работу. Неважно, какая это работа, лишь бы им хватало на сигареты. Но их цель даже и не в этом. Они хотели только быть полезными Германии. От Элизабет они узнали о моей необыкновенной доброте – я, дескать, один из немногих в посольстве, кто не откажется помочь человеку… и вот они рискнули обратиться ко мне с просьбой.

Я дал им закончить эту довольно продолжительную речь, стараясь составить о них свое мнение. Наконец, я ответил, что как бы я ни хотел, я не в состоянии ничего сделать для них. Они не могут получить никакой работы в посольстве без специального разрешения министерства иностранных дел, даже если эта работа совсем не оплачивается.

Но не мог ли я взять одного из них в качестве своего личного шофера? Конечно, мне не потребуется на это разрешения Берлина, и я могу взять кого-либо из них, тем более, что оба они прекрасные механики по автоделу. Но я сказал, что, как ни печально, это тоже совершенно исключено.

Они неохотно ушли от меня. Я же был рад выпроводить их – ни один из них мне не нравился. В их поведении было что-то странное, хотя оба они были очень вежливы и даже раболепны.

Элизабет никогда больше не упоминала о летчиках, но её поведение не оставляло ни малейшего сомнения, что девушку глубоко задел мой отказ помочь её друзьям.

В то же самое утро, когда я проходил по посольскому саду, направляясь к себе домой завтракать, ко мне обратился наш военно-воздушный атташе. Оказывается, он заметил летчиков, выходивших из моего отдела. Он спросил меня, знаю ли я, что об этих двух летчиках в штаб военно-воздушных сил послан официальный запрос. В их рассказах о знаменитой вынужденной посадке слишком много противоречий. Больше того, продолжал военно-воздушный атташе, он слышал, что у них слишком

дружеские отношения с моим секретарем. Учитывая предстоящее расследование, не лучше ли мне приказать ей положить конец этой сомнительной дружбе. Он хотел придти ко мне в кабинет и рассказать обо всем этом там, но по совершенно понятным причинам решил не говорить в присутствии Элизабет.

– Мне кажется, генерал, уже давно пора раз и навсегда выяснить этот вопрос, – сказал я. – Об этих двух парнях болтают всякое. Насколько мне помнится, официальный запрос был отослан в прошлом году. Но как я могу приказать своему секретарю не видеться с ними, когда мы всё ещё не получили ответа? Если эти люди окажутся теми, за кого они себя выдают, меня обвинят в злостной клевете, а это серьезное дело. Между нами говоря, мне они нравятся не больше, чем вам. Но едва ли это достаточное основание для того, чтобы запретить Элизабет обедать с ними. Кстати, они заходили ко мне сегодня утром и просили работы.

– Что же вы им сказали? – спросил генерал.

– Я очень вежливо ответил, что ничем не могу им помочь.

– Правильно. Я рад, что вы так ответили. Я жду ответа на свой запрос со дня на день и извещу вас, как только он будет получен.

Я поблагодарил генерала и пошел завтракать. Еще одна гора свалилась с моих плеч.

Но через несколько дней у меня в кабинете опять произошла досадная сцена: Элизабет снова заливалась слезами. На этот раз я был, пожалуй, немного виноват.

Больше недели Шнюрхен находилась в отпуске, и, как я уже сказал, Элизабет прекрасно справлялась с дополнительной работой. Она оказалась гораздо более надежным человеком, чем я ожидал. Мне приходилось оставлять на неё свой кабинет в течение многих часов подряд, когда я бывал у посла или на служебных совещаниях. В мое отсутствие она вполне удовлетворительно выполняла все, что требовалось. Кстати, к этому времени она уже довольно хорошо была информирована о характере операции «Цицерон», хотя ничего не знала о деталях.

Затем возвратилась Шнюрхен и снова взяла на себя основную часть работы, оставаясь такой же надежной и пунктуальной, как всегда. А Элизабет вернулась к переводам из иностранной прессы. Несмотря на отличное знание языков, она всегда очень плохо выполняла эту работу, вероятно, потому, что она просто ненавидела ее. Ее переводы, переписанные на машинке, были полны опечаток, грамматических ошибок и грубых искажений текста. Я сам всегда исправлял эти ошибки, причем никогда не бранил Элизабет. Мне не хотелось лишних сцен. Но в то утро её

перевод был так плох, что я потерял терпение.

– Мне не нужна такая работа, – сказал я с раздражением. – Здесь одни идиотские ошибки. Я прекрасно знаю, что вы можете переводить лучше. Вам придется сделать все сначала.

Я сунул ей перевод обратно, но тотчас же понял, что допустил ошибку. Мне не следовало выходить из себя. В конце концов, ведь скоро она уедет.

Лицо Элизабет побелело от злости. Она взяла отпечатанные на машинке листы, уничтожающе посмотрела на меня и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. В передней она с яростью разорвала перевод на мелкие кусочки, а затем бросилась в кресло и разразилась слезами. Ее рыдания доносились до моего кабинета. Я вышел к ней.

– Послушайте, Эльза, – сказал я подчеркнуто спокойно, – постарайтесь же быть более благоразумной. Всем нам приходится мириться с тем, что нам иногда выговаривают. Неужели вы думаете, что посол не бранит меня, если я что-нибудь делаю не так?

– Дело не в этом, – отвечала она сквозь рыдания. – Обидно, что вы мне не доверяете. Ничего, кроме этих ужасных, скучнейших переводов. Я больше не вынесу этого. Неужели вы не позволите мне выполнять какую-нибудь настоящую работу?

Я не знал, что делать с этим истеричным существом. Наверное, благоразумнее всего было быть твердым и вместе с тем добрым. С Элизабет могло произойти нервное потрясение, поэтому я должен был обращаться с ней как можно более деликатно. Но на этот раз я был слишком раздражен. Кроме того, я уже прибегал к этому раньше, а сценам не было конца.

– Если вам не нравится работать здесь, можете ехать обратно в Софию. Я постараюсь немедленно устроить это.

Когда Элизабет подняла голову, слезы всё ещё струились по её лицу.

– Итак, вы хотите избавиться от меня, – прошептала она. Она говорила хриплым голосом, и губы у неё дрожали.

– Нет, я не хочу, чтобы вы уезжали, – солгал я, – но если вам здесь нехорошо, я не стану вас задерживать.

Я надеялся, что она захочет вернуться в Софию или к своему отцу в Будапешт. Ничего подобного. Все, что она сделала, – это повернулась на каблуках, выбежала из комнаты и с силой захлопнула за собой дверь. Через полчаса она вернулась обратно и извинилась за свое поведение. Все было так же, как и прежде.

Моя жена пригласила Элизабет на небольшой обед, который мы устраивали в этот вечер у себя дома. Мне хотелось знать, придет ли она или не придет после того, что случилось. Она

пришла, правда, очень поздно, – так поздно, что пришлось подогревать обед, а суфле было испорчено.

Я заметил, что она возбуждена больше, чем обычно. Лицо Элизабет было мертвенно бледным, но это ей шло, так как её обычно тусклые глаза казались почти блестящими. На ней было красивое платье цвета слоновой кости – этот цвет удивительно шел к бледному лицу девушки. В тот вечер она выглядела очень красивой.

За обедом она едва прикоснулась к еде, вина тоже не пила – вместо него она попросила воды. За весь вечер Элизабет не произнесла почти ни одного слова. Казалось, она совсем не слушала нас с женой. У меня создалось такое впечатление, будто она находится в состоянии безумной тревоги, почти ужаса.

– Лишь несколько недель спустя я узнал причину странного поведения Элизабет. Перед тем как идти к нам, она зашла к знакомому доктору и спросила его, следует ли ей принять наше приглашение: она боялась, что я могу попытаться отравить ее.

В понедельник, 3 апреля – это был первый день пасхальной недели, – едва войдя в мой кабинет, Элизабет спросила меня, нельзя ли ей поговорить со мной наедине. Шнюрхен, которая всегда отличалась большим тактом, встала и вышла из комнаты.

– Итак, – сказал я, когда мы остались одни, – чем могу быть полезен?

– Нельзя ли мне получить несколько дней отпуска на пасху? Мне очень хочется провести недельку с родителями в Будапеште. Я знаю, мне не полагается отпуска, но видите ли, мой брат в отпуске, и он тоже будет там.

Я пришел в восторг от её просьбы, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы не показать этого. Как только она попадет в Будапешт, подумал я, отец сможет удержать ее. Она просто останется там, а я вышлю её багаж. Мне захотелось обнять девушку, когда я услышал эту просьбу. Но я достаточно хорошо знал Элизабет и был уверен, что, увидев мою радость, она может моментально изменить свое решение и отказаться от отпуска.

Поэтому я нахмурился и стал вертеть в руках карандаш.

– Гм…, – произнес я. – Вы избрали не очень подходящий момент. У вас ещё много незаконченной работы, и, кроме того…

– Я была бы так счастлива, если бы вы позволили мне поехать. Я обещаю вам закончить всю работу к четвергу.

– В таком случае, – сказал я, подавляя вздох облегчения, и при этом лицо мое немного смягчилось, – в таком случае я дам вам отпуск. Вы говорите, что хотите поехать в четверг?

– Если я сяду на поезд в четверг вечером, то успело к курьерскому самолету, отправляющемуся из Стамбула. Как вы

думаете, смогу я попасть на него?

– На самолет? Не знаю, – ответил я, всё ещё стараясь сохранить суровый вид. – Может быть, мне удастся достать вам билет.

Когда я рассказал послу об этой удаче, он тоже был очень доволен.

– Отлично, – одобрил меня фон Папен. – Прекрасное решение. Этим же самолетом вам следовало бы послать объяснительное письмо её отцу. Я позабочусь о том, чтобы у неё был билет.

Во вторник и в среду Элизабет почти не появлялась в отделе. Она вежливо извинялась, говоря, что ей надо сделать много покупок. Я не возражал, хотя было совершенно ясно, что она не делала никаких попыток закончить работу до отъезда.

Однажды я встретил Элизабет в городе. Она несла большой сверток.

– Новое пальто, – сказала она с улыбкой. – Буду носить на пасхе в Будапеште.

В среду, накануне своего отъезда, она пришла в отдел и пробыла несколько часов. Работая над переводами, она весело мурлыкала про себя. Очевидно, она была очень благодарна мне за отпуск. Я начинал чувствовать, что, пожалуй, был немного несправедлив к этой девушке.

Элизабет заявила, что вернется обратно через неделю, считая сегодняшний день, что, хорошо отдохнув, она сможет серьезно заняться работой. Она обещала больше не причинять мне неприятностей, весело щебетала о своем брате и о том, с каким нетерпением ждет встречи с ним.

Я купил для неё билет до Стамбула. Как обычно, кассир заявил, что все билеты на этот поезд уже распроданы, и мне пришлось заплатить за билет двойную цену. Я с радостью сделал это и с удовольствием заплатил бы в три раза больше, только бы избавиться от неё таким легким способом.

Утром в четверг, то есть 6 апреля 1944 года, Элизабет пришла попрощаться со Шнюрхен и со мной. Сначала она подала руку Шнюрхен, пообещав ей привезти чудесное венгерское пасхальное яичко. Затем подошла ко мне и ещё раз поблагодарила за мою доброту. Я выразил желание проводить её на вокзал, но Элизабет просила меня не беспокоиться. Однако я оставил её билет дома. Кроме того, – но об этом я не сказал, – я хотел лично, убедиться, что она действительно уедет.

– В таком случае я не стану пока прощаться с вами, – сказала Элизабет, – ведь мы ещё увидимся перед отъездом.

Выходя из кабинета, она улыбалась. Это был единственный

раз, когда я видел её счастливой.

В половине шестого я был на вокзале. Поезд уже стоял у перрона, хотя оставалось ещё почти полчаса до его отхода.

Фон Пален тоже был там. Он пришел на вокзал, конечно, не для того, чтобы проводить Элизабет, а чтобы попрощаться с испанским послом, который тем же самым поездом навсегда уезжал из Анкары. Я стоял у входа в вокзал, так как не хотел участвовать в этой полуофициальной беседе. В кармане у меня лежали билеты для Элизабет на самолет и на поезд.

«Почему эта несчастная девчонка не может явиться вовремя?» – подумал я, взглянув на часы. Впрочем, до отхода поезда оставалось ещё почти пятнадцать минут.

Я походил немного по привокзальной площади, а затем отправился обратно на перрон. Может быть, я не заметил, что она прошла и теперь была уже в поезде. Но её нигде не было видно.

За пять минут до отхода поезда я начал нервничать. Посол попрощался с испанским коллегой и пробирался к своей машине. У меня, очевидно, был взволнованный вид, так как, проходя мимо, фон Папен спросил:

– Она ещё не явилась, эта ваша Элизабет?

– Нет, господин посол.

– Хочет оставаться верной себе до конца, – сказал он и добавил: – Она, вероятно, явится, когда тронется поезд. Есть женщины, которые всегда опаздывают.

И он пошел дальше.

Элизабет не явилась. Поезд ушел без нее. С этим поездом уехал дипкурьер, в сумке которого лежало письмо, адресованное её отцу.

Теперь я уже не на шутку встревожился. Прямо с вокзала я отправился на квартиру, где она с недавнего времени жила с одной девушкой из посольства. Эта девушка открыла мне дверь, когда я позвонил.

– Где Элизабет? – спросил я.

Она ответила мне, что Элизабет уехала в три часа с двумя большими дорожными сундуками и чемоданом. Это показалось мне очень странным.

Я заглянул в её комнату, надеясь найти какой-нибудь намек на то, куда она могла скрыться. В комнате ничего такого не оказалось. Все комоды и шкафы были пусты. Казалось, она забрала с собой все, что у неё было.

Наконец, в одном из пыльных углов я обнаружил старое зимнее пальто Элизабет, это была единственная вещь, которую она не взяла с собой.

Теперь я был окончательно обескуражен. Я сел на её кровать

и начал раздумывать, куда она могла исчезнуть.

Возможно, с ней произошел несчастный случай. Или, быть может, она покончила самоубийством? С Элизабет это могло случиться в один из её обычных приступов душевной депрессии. Где мне искать ее? И почему она забрала все свои вещи? После трех часов в этот день из Анкары не ушел ни один другой поезд, поэтому она всё ещё должна была находиться где-то в городе.

Я отправился обратно в посольство и рассказал фон Папену о происшедшем. Я редко видел его таким рассерженным.

– Вот что получается, когда мы берем на ответственную работу истеричных женщин, – сказал он.

Я молчал, а он ходил взад и вперед по своему кабинету. Время от времени он бросал на меня взгляды, в которых не было его обычной доброты. Затем он спросил:

– Что вы теперь намерены делать?

– Я буду продолжать искать ее, а если не найду, немедленно сообщу о случившемся в Берлин и поставлю в известность турецкую полицию.

Фон Папен покачал головой.

– С этим пока повремените. Она ещё может появиться. Если мы поставим в известность анкарскую полицию, то это дело может попасть в газеты, а ведь нам не нужны скандалы. Если случится самое худшее и мы должны будем сообщить об этом в полицию, то я сам сначала переговорю с министром иностранных дел.

Я сел в машину и объездил каждый уголок Анкары. Я выискивал всех знакомых Элизабет, о которых только мог вспомнить. Снова и снова я задавал один и тот же вопрос:

– Вы случайно не видели моего секретаря?

Никто не видел ее.

Около полуночи я отправился в гостиницу, где жили те два интернированных немецких летчика, о которых говорилось выше. Турецкий офицер не хотел впускать меня, пока я не представил ему документов, подтверждавших, что я сотрудник германского посольства. Только после этого меня провели в комнату, которую занимали Ганс и Фриц.

Я постучал. Ответа не было. Я постучал сильнее. Кто-то раздраженным голосом спросил меня, что мне надо. Я назвал себя и сказал, что должен поговорить с ними по неотложному делу. Дверь открыл один из летчиков, одетый в пижаму. В противоположном конце комнаты я заметил второго.

– Вы не знаете, где Эльза? Она бесследно исчезла.

– Почему я должен знать, где она? Я не видел её несколько дней. Во всяком случае, здесь её нет, в чем вы сами можете

убедиться.

Насмешливо улыбаясь, он распахнул дверь настежь и демонстративно отошел в сторону, чтобы я мог видеть всю комнату.

– Как вы думаете, где она может быть?

Спрашивая это, я посмотрел ему прямо в глаза. Он опустил их, избегая моего взгляда. В нем было что-то очень неприятное, когда он стоял, вертя дверную ручку. Мой вопрос, очевидно, застал его врасплох, но скоро он снова стал угрюмо-спокойным.

– Я только что сказал вам. Я не видел вашего секретаря вот уже целую неделю. Вы не верите мне?

Несколько дней назад этот человек раболепно просил меня дать ему какую-нибудь работу. Теперь в нем не было и следа прежней униженности. Подчеркивая каждое слово, летчик сказал, что он и его друг устали и теперь ложатся спать. Ни слова не говоря, я повернулся и вышел. Дверь с шумом захлопнулась за мной, и я услышал, как в замке повернулся ключ.

Что мне оставалось теперь делать?

Я позвонил в наше консульство в Стамбуле и попросил встретить поезд, который должен был прибыть туда из Анкары на следующее утро. Я дал им точное описание Элизабет. Может быть, она все же была в этом поезде, но по какой-то неведомой причине решила спрятаться от меня. В самом деле, её поступка ничем нельзя было объяснить.

В полночь из Анкары отправился следующий поезд. Он направлялся не в Стамбул, а в Адану. Я тщательно осмотрел этот поезд, заглянув в каждое купе. Не было никаких следов Элизабет. Затем мне пришло в голову, что, может быть, – при условии, что она ещё жива, – она выехала из Анкары на автомобиле и сядет на этот поезд на первой остановке, которая находилась на расстоянии десяти километров от Анкары. Это было очень мало вероятно, но я уже дошел до предела.

Я вскочил в свою машину и, несмотря на темноту, бешено помчался вперед, стараясь догнать этот поезд. На станцию я приехал за минуту до его прихода. Но ни один человек не сел в поезд.

В ту ночь я уже больше ничего не мог сделать. Я сидел дома и думал. Где бы она могла быть? Неужели Элизабет выбрала тот же путь, что и стамбульские дезертиры? Тогда мне грозят большие неприятности, возможно, даже смерть и уж во всяком случае концентрационный лагерь.

Но она не могла, конечно, выбрать такой путь. В конце концов, она принадлежит к одной из лучших семей Германии; её отец вполне достойный человек, профессиональный дипломат.

Нет, я не мог поверить этому.

Возможно, она попала в какую-нибудь катастрофу. Утром надо было все это выяснить. Но как же её вещи? Ведь она взяла с собой все свои вещи (не могла же она, конечно, пытаться добраться с ними до Будапешта самолетом), а это должно было означать, что она не собиралась возвращаться назад. Поэтому как я ни старался, я не мог выбросить из головы мысль о её дезертирстве.

Ранним утром моя жена нашла меня спящим в кресле. Она никогда не спрашивала меня ни о чем, связанном с моей службой, и за это я был очень благодарен ей. Но она видела, что я чем-то сильно удручен.

На следующий день в восемь часов утра я снова отправился в дом, где жила Элизабет. Измученный, полный тяжелых предчувствий, я медленно поднимался по лестнице. Я так сильно задумался, что прошел на один этаж выше, чем следовало, и позвонил, не посмотрев на дверь. Никакого ответа. Я позвонил снова. Дверь отворила полная, пожилая женщина. Она сказала мне, что господина нет дома.

– Какого господина? – спросил я.

Тут только я заметил карточку, прибитую к двери. Квартира принадлежала младшему секретарю английского посольства. Это показалось мне неприятным предзнаменованием.

Спускаясь на этаж ниже, я чувствовал себя совершенно разбитым. На этот раз я позвонил в нужную мне квартиру, но узнал лишь, что Элизабет не вернулась.

Позже я позвонил старшему чиновнику турецкого министерства иностранных дел, который уже должен был быть у себя. Он был дружески расположен ко мне, и я очень хорошо знал его. Я попросил тотчас же принять меня по очень срочному делу.

Сидя в его комфортабельном кабинете, я рассказал ему об исчезновении Элизабет и спросил, не помогут ли мне турецкие власти найти пропавшую девушку, сделав это очень осторожно. Фон Папен, добавил я, очень беспокоится о том, чтобы это дело не попало в газеты. Прежде чем ответить, он немного подумал, а потом сказал:

– Вряд ли это несчастный случай или самоубийство – сейчас я уже знал бы о нем. Боюсь, гораздо более вероятно, что ваш секретарь последовала примеру немецких дезертиров в Стамбуле. По сути дела, едва ли можно в этом сомневаться.

Провожая меня до двери, он добавил:

– Ради вас мне хочется надеяться, что я ошибаюсь.

Вернувшись к себе в отдел, я увидел ответ из Стамбула. Из консульства послали надежного человека встретить поезд, но в

нем не оказалось никого, кто хоть сколько-нибудь подходил под описание Элизабет.

Теперь у меня не было выбора. Я должен был сообщить о случившемся в Берлин. Никогда ещё я не испытывал таких трудностей при составлении доклада. В нем я писал, что Элизабет бесследно исчезла и что пока нельзя установить, самоубийство ли это или несчастный случай, но что существует вероятность её дезертирства к англичанам.

Когда я отправил это сообщение, её дезертирство с каждым часом стало казаться мне все более возможным, пока, наконец, я не поверил в него, как в несомненный факт.

Как я и ожидал, из Берлина посыпался поток писем, причем каждое содержало ряд вопросов, на которые я едва ли мог ответить. Само собой разумеется, во всех этих запросах был строгий приказ: любой ценой установить местонахождение пропавшей девушки. Предположение о несчастном случае или самоубийстве не встретило в Берлине поддержки, да и сам я уже перестал верить в это.

Дни тянулись в каком-то кошмаре. Я был озадачен молчанием отца Элизабет – ведь он должен был получить мое письмо несколько дней назад.

На пятый день после исчезновения Элизабет я получил предписание из ведомства Кальтенбруннера. Мне приказывали немедленно отчитаться перед Берлином. Я должен был вылететь следующим курьерским самолетом. 12 апреля я сел в ночной поезд, отправлявшийся в Стамбул. Самолет, на котором я должен был лететь в Берлин, отправлялся 14 апреля. Я предчувствовал, что ожидало меня в Берлине.

Прибыв в Стамбул, я взял у своего друга машину и большую часть дня провел в бесцельной езде по улицам этого огромного города. Я надеялся, не имея на то никаких оснований, что Элизабет могла быть в Стамбуле и что, может быть, совершенно случайно я натолкнусь на нее. Но этого не случилось.

Немецкий курьерский самолет прибыл днем 13 апреля. На следующее утро я должен был отправиться на нем в Берлин.

В консульстве шла сортировка корреспонденции. Я попросил разрешения взглянуть на нее, чтобы проверить, нет ли писем для меня.

На мое имя было два новых предписания от Кальтенбруннера и одно из министерства иностранных дел. В каждом из них содержался суровый выговор за исчезновение Элизабет. Все они делали упор на то, что Элизабет была переведена из Софии главным образом по моему настоянию.

Я положил предписание обратно в сумку и собирался уже

закрыть ее, но вдруг заметил небольшой коричневый конверт, тоже адресованный мне. Я вскрыл его и начал читать. В письме было всего лишь несколько строчек, торопливо набросанных на клочке писчей бумаги. Когда я прочитал эти строки, у меня задрожали руки.

Письмо было от моего друга, работавшего в министерстве иностранных дел. В нем говорилось, что, по всей вероятности, я буду арестован, как только моя нога ступит на германскую землю. В некоторых высокопоставленных кругах полагали, что я поощрял своего секретаря к дезертирству и даже помог ей бежать.

Ясно, какие выводы можно было сделать из этого.

# Глава десятая

Я не имел ни малейшего представления о том, что мне делать. Самолет отправлялся в Берлин на следующее утро. Если бы я вылетел с этим самолетом, меня заключили бы в тюрьму или в концлагерь, как только я прибыл бы в Берлин, а позже, возможно, расстреляли бы. Ибо как я мог доказать, что совсем не виновен в дезертирстве Элизабет? С другой стороны, если бы я остался здесь, это было бы прямым неподчинением приказу. Берлин воспринял бы это как явное признание мною своей вины.

Часами я ходил по улицам Стамбула. У меня не было друга, к которому я мог бы обратиться за помощью или за советом. Наконец, я придумал, как временно разрешить этот вопрос или, по крайней мере, отсрочить его решение. В тот же день поздно ночью я отправил в Берлин зашифрованную телеграмму, в которой сообщал своему начальству, что заболел и что доктор запретил мне лететь самолетом. Затем я разорвал в клочки билет на самолет.

Смертельно уставшим я вернулся, наконец, в гостиницу и принял продолжительный холодный душ, чтобы прояснить себе мозги. Я уже закрывал воду, когда зазвонил телефон.

Я снял трубку. С другого конца провода кто-то говорил со мной по-английски.

– Я обращаюсь к вам от имени англичан. Если вы поедете завтра в Берлин, вас наверняка расстреляют. Мы хотим дать вам возможность спастись. Переходите к нам – этим вы спасете свою жизнь и жизнь вашей жены и детей.

Я повесил трубку.

Вместо того чтобы лечь спать, как я сначала хотел, я снова начал одеваться. В таком состоянии я все равно не смог бы уснуть. Когда я надевал ботинки, снова зазвонил телефон. На этот раз голос был другой – говорили по-немецки с заметным иностранным акцентом.

– То, что вы собираетесь делать, – просто сумасшествие. Хорошенько подумайте, прежде чем принять решение. Англичане человечны. Приходите в консульство и обсудите этот вопрос с мистером…

Говоривший назвал имя, которое мне часто приходилось слышать. Враг проявил ко мне больше человечности, чем мои руководители. Германия означала теперь для меня смерть или тюрьму. Англия означала… нет, нет. Я дрожал с ног до головы, когда положил трубку, не сказав ни слова.

Через несколько минут снова зазвонил телефон.

– Говорит доктор Р. Вы ведь помните меня? Это был мой земляк, житель Вены. Мне никогда не приходилось разговаривать с ним, но, при встречах мы обычно здоровались.

– Слушайте, – сказал он, – слушайте внимательно. Меня уполномочили сделать вам ещё одно предложение, чтобы спасти вашу жизнь. Вы можете не бояться наказания за те поступки, которые вы совершили, исполняя служебные обязанности. Англичане знают, что вы порядочный человек и просто исполняли данные вам указания. Я могу встретиться с вами сегодня и точно передать вам предложение англичан. Я уже давно работаю у них. Итак, мы встретимся.

– Я не могу сделать этого, – ответил я. – Не говоря уж о всем прочем, существуют причины личного характера, препятствующие этому. Большая часть моей семьи находится в Германии. Кроме того, сбежать теперь, когда корабль начинает тонуть… Нет, я не могу так поступить. Неужели вы этого не понимаете?

– Конечно, я понимаю. Но что ожидает вас в будущем? Что ожидает ваших детей? У вас больше не будет такой возможности. Кроме того, когда Германия проиграет войну, вас могут привлечь к ответственности за целый ряд дел, если вы останетесь с теми, с кем вы находитесь сейчас, и это отнюдь не угроза.

– Я не могу сделать этого, доктор. Я понимаю, вы желаете мне добра. Спасибо.

Я положил трубку и побежал вниз. В вестибюле было два или три человека. Мне показалось, что они с удивлением посмотрели на меня, когда я проходил мимо них, направляясь в небольшую комнату, где помещался коммутатор гостиницы.

– Я ложусь спать и поэтому не хочу, чтобы мне звонил ещё кто-нибудь сегодня вечером, – сказал я.

Я положил десять лир на стул возле телефонистки. Она кивнула головой.

Затем я вернулся в свою комнату и уже наполовину разделся, когда вновь зазвонил телефон. Очевидно, они заплатили телефонистке больше меня.

Сначала я не хотел отвечать, но телефон продолжал звонить, и я снял, наконец, трубку. Опять был новый голос.

– Если вы поедете в Берлин, вы пропали. Подумайте, пока ещё не поздно…

Я вынул из кармана нож и перерезал телефонный провод. Зачем я это делаю? Мне не хотелось слушать их больше или я начал сомневаться в своей способности сопротивляться?

Спать я уже не мог. В два часа ночи я сошел в вестибюль и, воспользовавшись телефоном швейцара, позвонил своей жене в Анкару. Я сказал ей, чтобы она ни на минуту не выпускала из

виду детей и чтобы все двери дома были накрепко закрыты, пока я не вернусь. Потом я все объясню ей.

Это было вызвано тем, что внезапно мне пришла в голову дикая мысль: вдруг кто-нибудь попытается похитить моих детей, зная, что я последую за ними? Теперь это кажется сумасшедшим предположением, но ведь то были сумасшедшие, странные времена.

На следующее утро германский курьерский самолет отправился в Берлин без меня. Вместо того чтобы вылететь в Берлин, я поехал на стамбульский вокзал, где попросил билет в спальный вагон на ночной поезд, отправлявшийся в Анкару. В кассе мне сказали, что билеты на этот поезд уже распроданы. Я заплатил в пять раз дороже и получил билет в спальный вагон. В ту же ночь я уехал из Стамбула. Это была кошмарная поездка.

Вернувшись в Анкару, я обнаружил, что о бегстве моего секретаря стало известно всем. Однако никто не знал наверняка, куда она скрылась. Я узнал правду совершенно случайно от Цицерона.

На второй день после моего приезда из Стамбула Цицерон позвонил мне. Он немедленно хотел меня видеть. Мы встретились в квартире моего друга в десять часов вечера. Ясно было, что Цицерон очень волнуется.

– Ваша секретарша у англичан, – тотчас же сказал он.

Я понимающе кивнул головой, так как был уже вполне уверен в этом. Он добавил:

– Она всё ещё в Анкаре.

И он сообщил мне адрес, где, как предполагал, находилась Элизабет. Затем он спросил:

– Что ей известно обо мне?

Я в самом деле не знал, что именно было известно ей о нем. Я мог только предполагать. И то, что предполагал, было не особенно приятным. После небольшой паузы я сказал:

– Она знает ваше условное имя… возможно, ещё что-нибудь.

Вцепившись в спинку кушетки, бледный, он во все глаза смотрел на меня:

– Вы вполне уверены, что она не взяла с собой ни одной из фотографий, которые я вам приносил?

– Вполне уверен.

Это немного успокоило Цицерона. Затем я сказал ему:

– Вам бы следовало как можно быстрее уехать из Анкары.

Он не ответил и продолжал сидеть на кушетке, бессмысленно глядя перед собой. Наконец, он встал.

– Я должен идти.

Он стоял передо мной неподвижно. Каждая черточка его

сосредоточенного лица выражала страшную тревогу. Я заметил, что он опять обкусал ногти. Трудно было узнать в нем человека, который всего несколько недель назад, вручая мне пленки, хвастался своей опасной работой, словно это была детская забава. Он получал от меня огромные деньги. Время от времени лгал мне. Теперь он казался побежденным человеком, у которого не осталось никаких надежд вывернуться из создавшегося положения. В его темных глазах застыл ужас.

– Au revoir, monsieur,[8] – сказал он.

Впервые я подал ему руку. Он слабо пожал ее. Затем быстро вышел из дома и исчез в темноте. Больше я никогда не видел его.

В течение некоторого времени я не ходил на службу. Как бы там ни было, официально я числился больным и не мог никуда поехать. Когда я рассказал послу о случившемся, не опуская при этом никаких деталей, он, как обычно, проявил сочувствие и понимание.

– Отдохните немного, – сказал он, – вам, конечно, нужен отдых. Вы выглядите очень неважно.

Я уже однажды заходил к себе в отдел. После своего возвращения в Анкару я прежде всего самым тщательным образом осмотрел свой сейф. Все было на месте. Единственное, что могла передать Элизабет англичанам, – это сведения, которые она имела, если, конечно, к тому же не скопировала каких-либо документов.

Я был сильно угнетен всем случившимся, а полное бездействие так повлияло на меня, что я и в самом деле заболел и несколько дней пролежал с повышенной температурой. Когда я встал с постели и посмотрел на себя в зеркало, мое лицо показалось мне очень изменившимся. На висках появились седые волосы.

Берлин молчал. Я доложил, что Элизабет находится у англичан, но не получил на это никакого ответа. Не было также высказано никаких мнений ни по поводу моего прерванного путешествия в Берлин, ни по поводу сообщения о моей болезни. Молчание становилось все более зловещим.

В самом деле, ведь я сам настоял на переводе Элизабет в Турцию, но не сумел ни предвидеть, ни предупредить её перехода в лагерь противника. Я полагал, что в этом заключалось мое главное преступление, хотя этим ни в коей мере не исчерпывались мои грехи.

Я находился в хороших отношениях с обоими стамбульскими дезертирами и был другом незадачливого начальника их отдела. Если собрать все это вместе, то я представал в очень невыгодном свете. Больше того, я не раз досаждал Риббентропу – он сам

говорил об этом.

Но и это ещё не все. По личным, а также по политическим причинам я был на стороне фон Папена почти во всех спорах и разногласиях внутри министерства. От этого я, конечно, не выигрывал ни в глазах Кальтенбруннера, ни в глазах Риббентропа. Хуже всего было то, что я показал фон Папену документы, переданные Цицероном, тем самым намеренно нарушив приказ Кальтенбруннера.

Этим, как я полагал, исчерпывались мои грехи. В остальном же я честно из года в год выполнял свой долг. Но я понимал, что в Берлине не примут этого во внимание, и мои заслуги, несомненно, будут признаны ничтожными по сравнению с совершенным мною преступлением.

Недели через две я опять начал ходить на службу. У меня было такое ощущение, будто все подозрительно смотрят на меня. Так это было или не так, но мне представлялось, что за моей спиной все шепчутся о дезертирстве Элизабет, резко разговаривают со мной или просто избегают меня.

Однажды, когда я пришел домой, моя служанка сказала, что меня ждут два господина. Я вошел в гостиную и увидел Ганса и Фрица.

К тому времени они уже перестали выдавать себя за двух героев-летчиков, выбросившихся с парашютом после трагического воздушного боя над Черным морем. Теперь уже было известно, что они дезертиры. Окончательное подтверждение этого было получено из Берлина несколько дней назад. Как и большинство других сообщений из Берлина, оно прибыло слишком поздно.

Летчики не стали зря терять время и сразу приступили к делу.

– Мы пришли к вам по поручению англичан…

Я прервал их, попросив выйти из дома и на улице сказать мне то, что они хотели. Выйдя на улицу, один из них заговорил:

– Английское посольство поручило нам просить вас перейти на их сторону. Вам нечего их бояться. Но если вы будете так глупы, что отклоните их предложение, берегитесь.

Я не сомневался, что прямая угроза, содержавшаяся в последней фразе, вовсе не входила в их поручение. Очевидно, это они придумали от себя. Не сказав ни слова, я повернулся и пошел к себе домой.

Однажды моя жена и я присутствовали на обеде в японском посольстве. Около восьми часов меня вызвали к телефону.

Говорила наша служанка. Она просила меня немедленно придти домой. Сказав это, она тотчас же положила трубку, и я не успел спросить, в чем дело.

Сразу же я подумал о детях. Судя по её голосу, случилось что-то ужасное.

Не сказав ничего жене и хозяевам, я вскочил в свой автомобиль и поехал домой, ведя машину на головокружительной скорости.

Перепрыгивая сразу через четыре ступеньки, я взбежал по лестнице в детскую. Дети мирно спали. Вытирая лоб, я сошел вниз в гостиную, намереваясь выпить виски с содой перед тем, как спросить служанку, что случилось. К моему удивлению, в гостиной горел свет. На диване сидел человек, которого я знал много лет.

– Я должен извиниться, что зашел к вам в такой час, – сказал он, – но дело не терпит никакого отлагательства. Мы знаем, что в Берлине вы больше не считаетесь «персона грата». Вам предоставляется последняя возможность спасти себя. Я знаю, вам уже делались такие предложения и вы отклонили их. Я прошу вас не дезертировать, а просто встретиться с одним сотрудником английского посольства и переговорить с ним. Это ни к чему вас не обязывает. Англичане считают вас хорошим и надежным работником. Конечно, вы понимаете, что фактически Германия уже проиграла войну.

Я давно знал этого человека, но не имел ни малейшего представления, что он уже перешел на сторону врага. Неужели мне надо бежать от своих соотечественников из-за боязни понести наказание за преступление, которого я не совершал? Я всеми силами старался убедить своего непрошенного гостя, что, хотя я готов сделать все возможное для окончания этой ужасной войны, я никогда не соглашусь дезертировать.

Я объяснял это довольно долго, так как хотел раз и навсегда убедить англичан, что они понапрасну теряют время, пытаясь переманить меня к себе. Может быть, думал я, они прекратят эти попытки, если я достаточно ясно изложу им свою точку зрения. Когда я кончил говорить, посланец англичан встал.

– Я понимаю ваши чувства, – сказал он. – Все же я хотел бы убедить вас изменить свое решение. Я вижу, что не смогу этого сделать, и, откровенно говоря, мне это даже нравится.

Это была последняя предпринятая англичанами попытка убедить меня согласиться на предполагаемый ими выход из моего совершенно безнадежного положения.

Мне нелегко было устоять перед искушением принять их предложение. Я истратил на это последний остаток своих сил. Поэтому следующий удар ещё тяжелее отразился на мне.

Однажды утром, идя на службу, я встретил почтальона. Он редко приходил ко мне в дом, так как почти вся моя

корреспонденция приходила в посольство. Однако на этот раз у него было для меня письмо, посланное на мой домашний адрес.

Я тотчас же вскрыл его. В конверте был один лист белой бумаги, сложенный вчетверо. Не было ни адреса отправителя, ни его подписи, а всего лишь одна строчка на немецком языке, отпечатанная на машинке:

«В английском посольстве все известно о Цицероне».

Я долго ломал себе голову над этой запиской. Было ли это предупреждение, посланное другом, или насмешка со стороны врага? Я не имел ни малейшего представления о том, от кого она исходила. На конверте стоял почтовый штамп Анкары. Меня поразила ещё одна деталь: в единственной строчке текста было две грамматических ошибки.

В тот же день пришла дипломатическая почта из Берлина. Не прошло и часу после того, как я получил анонимное письмо, а я уже держал в руке другое, содержание которого было не менее удручающим.

«Извещаем Вас, что начато следствие с целью установления Вашей виновности в оказании содействия Вашему секретарю в дезертирстве к врагу 6 апреля».

Вот она, благодарность родины!

Я пошел домой, совершенно не отдавая себе отчета в том, что я делаю. В ритме моих шагов повторялся ритм слов, которые продолжали вертеться у меня в голове.

«Извещаем вас, что начато следствие с целью установления…»

Мои дети играли в саду. Жена пошла в город за покупками.

Я сел в машину и направился в окрестности Анкары. Все дальше и дальше ехал я по нескончаемому прямому шоссе. Лишь в этой таинственной деревенской глуши преследуемый людьми человек мог обрести мир и спокойствие.

Не знаю, сколько часов продолжалась бесцельная езда. Но мысль о жене и детях, в конце концов, заставила меня вернуться обратно. Вся ответственность за них лежала на мне и только на мне, и в конечном счете она была значительнее, чем всякая другая. Воспоминание о близких заставило думать, что, может быть, это ещё не конец. Будь я дальновиднее, я, быть может, понял бы, что это только начало.

# Глава одиннадцатая

На этом кончается операция «Цицерон». Война вскоре вступила в свою конечную стадию, которая обычно завершается политическими переворотами. С началом последнего грандиозного наступления на Востоке и Западе исчезла всякая надежда добиться мира путем переговоров. Если бы Цицерон продолжал доставлять нам материалы, едва ли они имели бы какую-либо ценность для Германии – даже если бы немецкие руководители знали, как их использовать, а они этого не знали. К концу 1944 года была потеряна последняя ставка на дипломатические и политические махинации, о которых я когда-то говорил Элизабет.

Быть может, читателю интересно узнать, что случилось с главными действующими лицами этого повествования.

Мое двусмысленное положение кончилось с разрывом дипломатических отношений между Турцией и Германией. В мае 1944 года, то есть вскоре после событий, о которых говорилось в предыдущей главе, турки пришли к соглашению с союзниками, и несколько месяцев спустя дипломатические отношения между Турцией и Германией были прерваны.

В эти месяцы я под различными предлогами все время откладывал свое возвращение в Германию, хотя мне давно было приказано вернуться.

С мая по август вместе с другими германскими официальными лицами в Турции я был занят эвакуацией довольно большой немецкой колонии, всё ещё находившейся там. Предстояло отправить в Германию более двух тысяч человек, в том числе много женщин и детей. Турки заявили нам, что все эти люди должны выехать к концу августа, в противном случае их интернируют как подданных вражеской страны. Но мы сумели почти всех их отправить на родину.

Германский посол выехал 5 августа 1944 года. До конца месяца предполагалось отправить три специальных поезда, на которых должны были выехать все оставшиеся немцы.

Я вовсе не жаждал вернуться в Германию и поэтому устроил так, что должен был выехать лишь с последним поездом. Однако этот поезд вовсе не вышел из Анкары. Красная Армия, наступая через Балканы, уже перерезала железнодорожную линию где-то между Софией и Белградом.

Таким образом, 31 августа я и моя семья были интернированы вместе с другими оставшимися в Анкаре сотрудниками посольства и членами немецкой колонии. Нас не

отправили в концлагерь – мы просто остались на территории посольства. Единственное изменение состояло в том, что дом окружили несколькими рядами колючей проволоки, за которой взад и вперед ходили часовые.

Это интернирование было временным, пока не найдется возможность отправить нас в Германию. Мы ждали, что ещё до конца года нас отправят на шведском пароходе, которому союзные флоты должны были обеспечить свободный путь и дипломатическую неприкосновенность. Но мне опять повезло. До конца апреля 1945 года шведы не могли предоставить нам этого парохода. К тому времени Гитлера уже не было в живых, а Третий Рейх доживал последние дни.

Через некоторое время я и несколько других германских дипломатов погрузились на пароход в Стамбуле. Когда мы добрались до Гибралтара, война закончилась. Поскольку не существовало больше германского правительства, не было также и германской дипломатической службы. Мы утратили свою дипломатическую неприкосновенность. Некоторые из нас были ненадолго интернированы англичанами сначала в Англии, а позже – в Германии, в английской зоне оккупации.

После допроса меня освободили и отправили обратно в Вену, в мой родной город. Там я встретился с женой и детьми, которые до этого некоторое время провели в Швеции. Когда шел Нюрнбергский процесс, меня раза два вызывали в суд давать показания. Против меня не было выдвинуто никаких обвинений. С радостью могу сказать, что я возвратился к мирной жизни с честной репутацией. Теперь я живу в небольшом местечке возле Инсбрука, в Австрийском Тироле, где работаю начальником по экспорту в одной из фирм, занимающейся производством текстиля.

И Риббентроп и Кальтенбруннер были приговорены в Нюрнберге к смертной казни и повешены. Фон Папена, который тоже был в числе подсудимых на этом знаменитом процессе, полностью оправдали. Теперь он живет в Западной Германии.

Не знаю, какая судьба постигла девушку, которую я называл Элизабет. Я видел её один раз, но поговорить с ней мне не удалось. Это произошло уже после рокового 6 апреля, а немного спустя она уехала из Турции – к лучшему или к худшему для нее, трудно сказать. Она как в воду канула, и до сих пор даже её семья не имеет представления, где она живет, и не знает, осталась ли она в живых.

Я не знаю, как она выглядит теперь. Элизабет, которая работала у меня, была очень светлой блондинкой с длинными волосами – типичная гетевская «Гретхен». Я слышал, что у

девушки, которая выехала тогда из Турции, были короткие черные волосы, что на ней была изящная американская одежда и что она изрядно красилась. Как говорили, она была похожа на элегантную молодую американку.

Цицерон тоже как в воду канул. Вскоре после нашей последней встречи его уже не оказалось в английском посольстве. Был ли он арестован или же сумел вовремя скрыться, я не знаю, да, вероятно, и не узнаю никогда. Архивы английской разведывательной службы могли бы раскрыть, что с ним произошло, – могли бы, но этого, конечно, никогда не будет.

Если Цицерону и удалось бежать, захватив с собой деньги, ему не придется вести ту роскошную жизнь, о которой он мечтал. Вспомним, что он хотел построить просторный дом в каком-нибудь райском уголке земного шара, где не было бы англичан. Даже если бы он нашел такое место, все равно денег, которые он получил, хватило бы лишь на то, чтобы построить небольшой комфортабельный коттедж.

От меня он получил триста тысяч фунтов стерлингов, то есть свыше миллиона долларов по тогдашнему валютному курсу. Эти деньги были переданы ему пачками, состоявшими из десяти-, двадцати- и пятидесятифунтовых кредитных билетов. После того как закончилась операция «Цицерон», я узнал, что почти все они были фальшивыми. Кажется, лишь первая пачка, присланная министерством иностранных дел, содержала настоящие деньги; но я не сомневаюсь, что двести тысяч фунтов стерлингов, отправленные германской разведывательной службой, были, конечно, сделаны в Германии, как и чемодан, в котором они были доставлены в Анкару из управления Кальтенбруннера. Несомненно, что последующие партии денег, полученных от него, тоже были фальшивыми.

Я обнаружил подделку много времени спустя, а подтвердилась она лишь после войны. Люди Кальтенбруннера так искусно подделывали деньги, что даже управляющие банков попадались на удочку. Наш управляющий в Стамбуле был не единственным человеком, который обманулся. И только эксперты английского банка окончательно установили, что деньги фальшивые.

Таким образом, если Цицерону удалось бежать, захватив с собой все свои деньги, они составляли в целом следующую сумму: тридцать пять тысяч фунтов стерлингов, двадцать тысяч долларов и на две тысячи фунтов стерлингов бриллиантов – меньше, конечно, чем он истратил в Анкаре на шелковые рубашки и ручные часы. Всего у Цицерона было приблизительно сорок тысяч фунтов стерлингов. Правда, это довольно

значительная сумма, но она составляла немного больше одной десятой тех денег, которые, по его предположению, он заработал. Так как Цицерон передал нам в общей сложности около четырехсот фотоснимков, выходило, что ему платили приблизительно по сто долларов за каждый документ. Если учесть тот огромный риск, которому он подвергался, это была не слишком уж щедрая плата.

Теперь мне ясно, почему Берлин без колебаний уплатил десять тысяч фунтов стерлингов за список мелких расходов по английскому посольству. В сущности, они купили ничего не стоящую катушку фотопленки за ничего не стоящие листочки бумаги.

Теперь, когда уже многие годы отделяют меня от того тревожного времени и можно гораздо спокойнее вспоминать о нем, я вижу какую-то мрачную иронию, даже своего рода символ в том, что почти все выплаченные Цицерону деньги были фальшивыми.

Обо всем уже сказано, и пора, наконец, задать вопрос: как же руководители Третьего Рейха отнеслись к секретным материалам, похищенным из сейфа английского посла?

Была выплачена самая крупная сумма денег, какая когда-либо упоминалась в истории шпионажа. Правда, её заплатили за очень ценные документы, дававшие самые свежие сведения о секретных планах противника, но уплаченные деньги были фальшивыми, а полученные сведения никогда не были использованы.

На мой взгляд, в этом заключается наиболее важный с исторической точки зрения момент в операции «Цицерон». В конечном итоге, все, что узнали германские руководители из этих документов, сводилось к одному: они вот-вот должны проиграть войну.

Это был критический период войны, её поворотный пункт, начало её конца. Изучая материалы Цицерона, германские лидеры могли понять и, быть может, на самом деле поняли, что союзники гораздо сильнее их, но они не хотели признавать этот неприятный факт.

В те дни я наивно верил, что германские руководители столь же ясно, как и я, увидят в документах то, что должно произойти, а следовательно, и то, в чем состоит их долг. Эти исчерпывающие и точные сведения заставят их понять, как я надеялся тогда, что перед Германией стоит уже не старая альтернатива – победа или поражение, а новая – поражение или полное уничтожение. Как я думал, осознав это, они будут действовать соответствующим образом. Я считал их патриотами.

Теперь, конечно, я вижу, как страшно я ошибался. Теперь мне понятно, что Риббентроп и остальные не могли взглянуть правде в лицо, не уничтожив себя. Союзники никогда не станут вести с ними переговоры о мире – это они прекрасно знали. Итак, ценой неисчислимых страданий своей страны и всего мира они решили игнорировать те неприятные факты, которые раскрыл перед ними Цицерон.

Вот в чем настоящая причина подозрительности Берлина к документам, продолжавшейся даже тогда, когда подлинность сведений Цицерона была установлена наверняка. Но они верили им, если содержавшиеся в них сведения были им желательны. Я очень хорошо помню, как упивались они каждой подробностью о серьезной болезни Черчилля. Черчилль на смертном одре – это то, что приятно слышать фюреру, а значит, это абсолютная правда. В то же время они отмахивались от гораздо более важных, хотя и менее приятных сведений, содержащихся в документах, словно они не имели никакого значения, или, что было ещё глупее, как будто они были подстроены англичанами.

Риббентроп считал чрезвычайно важным всякое, содержащееся в документах Цицерона доказательство раскола или простого непонимания между восточными и западными союзниками. Именно это он и хотел слышать, так как это соответствовало его теории. Он никогда не предпринял ни одного дипломатического шага, чтобы использовать эти документы для заключения мира на Восточном фронте путем переговоров.

Нежелание взглянуть действительности прямо в лицо, неумение понять, что происходит в мире, – вот в чем заключалась величайшая глупость нацистских лидеров. Их отношение к операции «Цицерон» было типичным примером этой глупости. Она стоила миру, уже достаточно пострадавшему от их преступной деятельности, дальнейших неисчислимых мучений, последствия которых до сих пор чувствуют на себе миллионы безвинных людей.

Руководители Германии того времени не были настоящими политическими деятелями. Странное совпадение, но за сведения, которые эти люди не сумели использовать, они заплатили фальшивые деньги.

**notes**

# Примечания

# 1

Вильгельмштрассе – улица в Берлине, где находились правительственные учреждения. Берхтесгаден – маленький городок в горах южной Германии, на границе с Австрией. Здесь была вилла Гитлера. (Прим. ред.)

## 2

Выражение, подобное русскому «комар носа не подточит», буквально – «ходить по веревочке», т. е. держать все в идеальном порядке. (Прим. ред.)

# 3

Все идёт хорошо? (франц.)

# 4

До свидания, мсье. (франц.)

# 5

До завтра, мсье. В тот же час! (франц.)

То есть правительству Великобритании

# 7

Overlord (анг.) – сюзерен, верховный владыка, повелитель

# 8

До свидания, мсье (франц.)